

1—2. НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

(Две неизданные хроники)

3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЗРАКИ

НЕИЗДАННЫЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ ЩЕДРИНА,
ПРЕДНАЗНАЧАВШИЕСЯ ДЛЯ «СОВРЕМЕННОКА»

Предисловие А. Луначарского

Комментарии Я. Эльсберга

ПО ПОВОДУ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ ЩЕДРИНА 1864—1865 гг.

Был в Щедрина, и сказывался со страшной силой, один момент социально-психологического и историко-политического характера, который мы встречаем и у Белинского, и у Чернышевского, и у множества других великих людей демократии нашей страны и стран зарубежных. Этот момент — несвоевременность.

Великая честь, дорогие товарищи, проснуться раньше других и раньше других увидеть тьму ночи и злобу ночных зверей, и тяжкую непробужденность народных масс, работающих, стеная, на врагов своих.

Это великая честь. Но если вы проснулись, оглянулись зорким глазом в еще не начавшей редеть тьме и заприметили все кошмары длящейся ночи, то что прикажете делать? Испуганно замолчать? Скрыть то, что вы увидали и поняли?

Крикнуть и постараться разбудить жертвы, хотя бы вы были уверены, что самый сильный призыв не пробьется к их сознанию?

Броситься защищать их и «протестовать своими боками», хотя вы знаете, что это будет бесполезное мученичество, которое ничего не изменит в корне вещей?

Объявить «подлость» царящей ночи естественной фазой истории и постараться примириться с ней, как сам Белинский, под влиянием Гегеля, старался сделать это в эпоху своей статьи о Бородинской годовщине?

Найти приличное и честное занятие, за которым можно было бы скромно прожить свою жизнь как ни в чем ни бывало, и все-таки перед своей совестью сказать себе: я был более или менее честным человеком?

Заняться медленной подготовительной работой, «милость к падшим приывать», так однако, чтобы никому это не было особенно заметно? Или зарыться в подполье и там говорить самые смелые вещи, однако совсем тайно, и то с большим риском?

Вот те решения вопроса о практическом поведении, которые встают перед чересчур рано проснувшимся гражданином. Они стояли перед Щедриным. Щедрин был человеком огромной смелости, но он не был романтиком, он не был дон-кихотом. Праздные жертвы казались ему смешными. Пожертвовать собою ради пустяков казалось ему презренным, а не героическим.

Щедрин был в высочайшей степени реалистом, практиком. Он хотел дело делать, он хотел результатов добиваться. Но когда эти результаты превращались в песок, в «полуду больничных рукомошников» и в «сморканье нечистых носов крестьянских ре-

бятишек в школе», то Щедрина с убийственной иронией говорил о такой религии «малых дел».

Как же быть? На борьбу не пойдешь. Вызовешь чудовище, — а оно тебя схрюпает. Сколько-нибудь крупного и полезного дела сделать не дадут. Ничего не делать, а предаться только восхищению перед будущим? — Это комично и жалко. В этих страшных противоречиях путался ум Щедрина. Сердце его отзывалось не только жалостью, но и мучительной судорогой осуждения, когда террористы даром отдавали свою жизнь.

Ну что же делать перед лицом призраков, как не подкапывать их фундамент ради прихода — хотя бы не правды, но новых, более светлых призраков?

Однако есть ли в этом какое-нибудь утешение?

Можно разумеется утешаться при различных разрешениях вышеуказанных задач тем, что «история поймет и помянет нас добрым словом». «Но почему, — спрашивает Щедрина, — от этого рода утешений веет какого-то рода иронией?»

Нет, для людей типа Чернышевского, типа Щедрина, для людей дела, целостной борьбы, победы нет утешения в том страшном факте, что они родились и проснулись слишком рано, что они делать своего дела в полном объеме не могут, что о победе ничего еще не слышно.

Как выйти из этой осужденности безвременья с достоинством?

Подло было бы с нашей стороны смеяться над тем, что величайшие люди того поколения становились утопистами и принимали за возможное то, что на самом деле не было возможно.

Подло было бы с нашей стороны бранить их за то, что они не разбивали свои головы о прочную стену еще непоколебимого зла.

Подло было бы с нашей стороны упрекать их в том, что во взволнованных и волнующих поисках выхода из этой трагедии, самой страшной социально-психологической трагедии, какая только возможна на земном шаре, они делали иногда ошибки.

Радуйтесь, товарищи, что вас, без всякой заслуги с вашей стороны, история сделала счастливыми. Да, вы боретесь и умираете, но это начался уже последний решительный бой. Да, вы иной раз голодаете, вы напряженно трудитесь, вы можете быть не увидите еще первых весенних дней уже ароматного, уже солнечного, уже музыкального, уже благословенного и согласованного молодого социализма. Но вы явным образом идете к нему как хозяева дороги, которая к нему ведет: вам все легко.

Радуйтесь, товарищи, что до вас пришли Маркс и Энгельс, что вы наследники гигантских волшебных прожекторов, которыми вы освещаете свое будущее, и что в свете этих прожекторов все становится ясно и понятно.

Как бы несчастно ни сложилась твоя личная жизнь, товарищ, радуйся, радуйся великим ликованием, ибо ты современник светлых дней, прямой борьбы и несомненной победы. И в радости своей, милый товарищ мой, не забудь понизже поклониться темным могилам тех людей, которые уже знали, где добро, которые не меньше тебя ненавидели зло, которые готовы были отдать борьбе всю кровь сердца до последней капли, которые, как и ты, хотели быть не шумными героями фразы и позы на эсеровский или анархический лад, а настоящими деловиками, делягами, но только деловиками революционными, делягами монументальными. Поклонись их святым могилам.

Да, у нас тоже есть наши святые. У нас тоже есть наши мученики, у нас тоже есть наши священные гробы.

В этих гробах покоятся не только победители, но и страстные искатели, исполнимского роста неудачники. Без их предварительного выхода на дорогу, без их предутренней разведки нам было бы труднее.

Вот почему так крепко любил Чернышевского Ленин. Вот почему таким товарищеским вниманием окружал он ядовито разящий врагов талант Щедрина.

Новые, бездонно умные, во всякой черте характерные в положительном и отрицательном, почти одинаково ценные статьи Салтыкова-Щедрина должны крепить нас в тех суждениях и чувствах, о которых я написал и в этом моем отклике на раскопанные рукописи нашего великого старшего брата.

А. Луначарский

1. НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Начну с того самого пункта, на котором оставил свою хронику в прошедший раз.

Протестовать своими боками — дело очень нетрудное, но в то же время и совершенно невыгодное. И если выгодно (разумеется, это слово следует принимать в самом обширном и разнообразном его применении) считать за исходную точку мало-мальски рассудительного человеческого действия, то подобного рода протесты можно назвать даже бессмысленными. Это простое наследие или рабства, или дикости, или такой цивилизации, которая растлена в самых своих источниках.

Известно, например, что бывшие крепостные люди против тягостей барщинной работы протестовали тем, что делали себе какое ни-на-есть увечье; известно также, что вотяк или черемисин мстит за нанесенную им обиду тем, что лишают себя жизни на дворе своего обидчика; и еще известно, что истинный японец (японский славянофил), чтобы наилучшим образом уязвить лицо, ему ненавистное, распарывает себе ножом брюхо. Примеры эти, конечно, не новы и даже избиты, но они именно тем и хороши, что, несмотря на свою избитость, имеют за собою драгоценное в этом случае качество: доказательность. Подобного рода протесты, как живые свидетели насилия, неразвитости и фаталистической нелепости, исчезают сами собой по мере торжества свободы, цивилизации и здравого смысла. Люди начинают постепенно прозревать и понимать, что, протестуя на копейку, делают на рубль вреда самим себе, и, понявши это, стараются приискивать для своей протестантской деятельности другие, более удобные и безвредные приемы.

Разумеется, если мы внимательнее пристальнее в сущность этого явления, то найдем, что со стороны крепостного человека, вотяка и японца такая нелепая форма протеста совершенно понятна. Кроме того, что она соответствует известным жизненным условиям, кроме того, что во всех такого рода случаях у протестующего или руки связаны, или умственные способности задержаны пеленою, кроме всего этого, говорю я, в результате подобных протестов все-таки оказывается ущерб, хотя и ничтожный сравнительно с ущербом, претерпеваемым самим протестующим, но тем не менее ущерб действительный. Когда крепостной человек нарочно порубал себе руку, то знал, что этот поруб исключал его из числа рабочих сил, и что вследствие этого у владельца его должно произойти замешательство в полевых работах; когда вотяк устраивает себе удавку на перекладине ворот своего обидчика, то знает, что накликает этим своему недругу беду, от которой он должен будет откупаться; когда японец, в пику врагу, распарывает себе брюхо, то знает, что враг этот действительно обидится и даже сочтет себя обесчещенным. Как ни явно нелепы их способы протеста, все-таки они имеют в виду результат реальный, который может удовлетворить хотя чувству мстительности. Но увы! может быть протест еще более жалкий! могут быть случаи, когда протест всею тяжестью ложится исключительно на бока протестующего, и когда при той силе, против которой он направлен, не происходит ущерба даже ни на копейку.

Но такого рода положение дела, отчасти комическое, а более прискорбное, достаточно любопытно само по себе, чтобы остановиться на нем с некоторым вниманием.

Протесты такого рода с особенною силою сказываются в такие моменты жизни обществ, когда эти последние находятся под влиянием напряженного возбуждения, т. е. что-либо торжествуются или празднуются. Минуты таких празднеств в глазах многих имеют большую привлекательность, но, в сущности, они представляют очень плохой признак, доказывающий толь-

ко, что жизнь находится в состоянии разложения, что она отказалась от старых форм, почему-либо оказавшихся непригодными, а новых выработать еще не успела. В такие минуты, несмотря на кажущееся торжество каких-то новых начал, всё и все протестуют, и именно потому, что торжества-то собственно никакого нет, а есть одно возбуждение. Один протестуют во имя воспоминаний прошлого, другие — во имя предчувствий будущего. Жизнь сходит с реальной почвы, утрачивает последний смысл действительности и ударяется в исключительный утопизм. И как ни противоположны полюсы (прошедшее и будущее), из которых отправляется протест, но они сходятся именно в том смысле, что в обоих случаях протест не имеет ближайшей, реальной цели, и отзывается исключительно на боках самих протестующих.

Но прежде, нежели продолжать мою речь, я обязан оговориться, что, употребляя здесь слово «общество», я понимаю его в том ограниченном смысле, который обыкновенно присваивается ему в литературе. Я говорю об обществе мнимом, о той накипи, которая плавает на поверхности, а не о низменной силе, которая никогда не покидает реальной почвы и не знает никаких утопий.

Выше я сказал, что при возбужденном состоянии общества протест производится или во имя воспоминаний прошлого, или во имя предчувствий будущего. И в том, и в другом случае источник протеста — упразднение известных жизненных форм, которые долгое время безраздельно царили над обществом, которым одна часть этого последнего бессознательно покорялась, и из которых другая часть извлекала немаловажные выгоды.

В первом случае протест идет из среды людей, для которых упраздненные формы жизни были выгодны. Люди эти очень хорошо понимают, что время обладает способностью беспощадно и безвозвратно затягивать архивную пылью все, что однажды отмечено жизнью клеймом негодности, и что протестами своими они никому и ничему, кроме самих себя, ущерба учинить не могут, но, тем не менее, протестуют, потому что сердца своего унять не в силах. «Погоди ты у меня, говорила одна барыня (она была тогда беременна) временно-обязанному своему лакею:—вот я от твоей грубости выкину, так тебя сошлют, мерзавца, в Сибирь!» И говорила эта барыня искренно, и желала, ох, желала она выкинуть! чтобы потом иметь право написать, что «от огорчения, причиненного ей грубостью подлеца Ваньки, изныл внутри у ее ребенок!» Быть может, даже по ночам ей мерещилось, что вот она выкидывает (конечно, без особенно скверных последствий), что Ваньку за это судят и, наконец, ссылают в Сибирь. Но ведь кто же не понимает, что и угрозы и самые желания, при всей своей искренности, — всё здесь, до самой последней подробности, призрачно и фантастично? Сама барыня это очень хорошо понимает; она знает, что Ваньку-подлеца ни в каком случае не сошлют (даже если б она действительно разрешилась мертвым младенцем), но у ней до того раскипелось сердце от огорчения, не от Ваньки даже идущего, что она впадает в злобную мечтательность, начинает строить воздушные замки, рисует себе соблазнительно-фантастические картины, в которых на первом плане стоят во всех положениях и на все манеры расписываемые Ваньки. Это даже и не мечтательность, а какое-то совсем особенное состояние духа: не сон и не бдение. Юноша с пылким, но рано развращенным воображением испытывает иногда нечто подобное: он сидит над книжкой, а перед глазами его в очию мелькает фантастическая женщина; он очень хорошо знает, что женщины тут никакой нет, а есть латинская грамматика, но в то же время чувствует, что в жилах его закипает кровь... А рот у него облепили мухи. Моя огорченная барыня жила такую же полусознательную жизнь, и потому, как



М. Е. САЛТЫКОВ (Н. ЩЕДРИН)

Фотография 1860-х гг.

Собрание О. И. Зубовой, Москва

только действительность вызывала ее из забытья, она протестовала, и, разумеется, протестовала самым крайним и нелепым образом, не щадя, так сказать, своего живота. Протест жалкий, и только в своей бессознательности находящий себе оправдание. «Господи! уж хоть бы разорвало, что ли, меня поскорее!» вопит человек, и в этих невинных воплях находит для себя утешение. Но если бы он знал, какой веселый смех возбуждают они в окружающих! Если бы он знал, что даже окрестность, неодушевленная окрестность — и та улыбается, взирая на то, как он в порыве нелепой и бесплодной мести раздирает свои собственные внутренности!

Если бы он знал! Но в том-то и дело, что он не знает, да и не следует ему этого знать, потому что в противном случае он мстил бы иначе, и, может быть, не возбуждал бы даже смеха. Это положительно повредило бы ему, потому что смех есть именно то единственное качество, при посредстве которого возможно примирение с людьми такого рода. Не будь этого смеха, оставалась бы налицо только сухая и безрезультатная их злоба, а теперь, сверх того, всюду просачивается еще достаточная доля глупости. И, таким образом, причина злобы объясняется сама собою и в значительной степени смысляет с ее обладателя то темное пятно, которое, в противном случае, лежало бы на нем.

Но как иначе назвать такой протест, как не протестом своими боками? Здесь протестующий не только не наносит ни малейшего ущерба ненавистному делу, но сам всечасно подвергается всеобщему осмеянию, и, кроме того, испытывает на себе все горькие последствия, длинной вереницей сопровождающие всякое неудавшееся действие. Он чувствует себя раздраженным и злым, тогда как по природе своей он апатичен и добр; он худеет и стареется, тогда как, не будь проклятого протеста, ему по всем правам надлежало бы тучнеть и юнеть. И все-таки он протестует, протестует, несмотря на очевидную невыгоду такого действия, протестует, несмотря на то, что протест, при таких условиях, явно действует в ущерб ему одному!

Однако случаи подобного рода далеко не исключительны; может существовать обстановка, хотя и не имеющая ничего общего с изображенною выше, но которая отнюдь не меньше благоприятствует тем протестам, о которых идет речь. Если в первом случае человек выходит из мирозерцания, ограничивающего развитие жизни, то во втором — он выходит из мирозерцания, возводящего представление о жизни до размеров идеала. Если в первом случае запрос поражает своим ничтожеством, то во втором — он поражает своею громадностью. Но практический результат и того и другого запроса всегда одинаков.

Я понимаю, что могут существовать на свете люди мысли страстной, не останавливающейся ни перед какими выводами, мысли, не повинующейся никакому иному закону, кроме закона своего собственного логического развития. На людей такого закала известного рода открытия действуют чрезвычайно решительно. С одной стороны, подробный анализ разнообразных положений, в которых находился человек при испытанных доселе порядках, доказывает совершенную несостоятельность этих последних; с другой стороны — столь же подробный анализ свойств человека и его отношений к внешней природе указывает на возможность другой действительности, действительности разумной и для всех одинаково удовлетворительной. Строгим, почти математическим процессом мышления человек доходит до сознания идеала и с высоты смотрит на действительность. На этой высоте мысль, отрешенная от реальной почвы, питается своими собственными соками и даже приобретает способность создавать свои собственные живые образы. Понятно, что при таком богатстве внутреннего содержания разнообразные, но бедные и тощие мотивы жизни действитель-

ной должны казаться не более, как безразличным дрязгом, к которому надлежит относиться не с ненавистью или отвращением, а с полным равнодушием. Люди волнуются, усердствуют, подставляют ноги, льстят, взаимно друг друга истребляют из-за какого-нибудь черствого куска хлеба; люди ценою величайших жертв и усилий, шаг за шагом, вырывают из пасти чудовища разорванные и помятые клочки того «счастья», о котором мечтает всякий человек, и которое составляет его естественное и законное достояние, — но разумно ли поступают эти люди, волнуясь таким образом, и не являются ли они в своих усилиях глупцами и пошлецами? Я не знаю, как на деле ответит на этот вопрос мысль, дошедшая до сознания идеала, но знаю, что если она верна самой себе и достаточно искренна, то обязана ответить: «да, эти люди пошлецы и глупцы!» И действительно, разве кусок черствого хлеба сделает человека навеки счастливым? разве, например, одна эманципация слова удовлетворит умственным потребностям человека? Разве возможно из общей цепи жизненных явлений выдвигать по произволу то или другое звено, а прочие оставлять ржаветь на старых местах? Разве не перестанет человек и после того волноваться и биться, домогаясь и еще какой-нибудь обглоданной кости, и еще какого-нибудь обкусанного и оплеванного клочка? Кажется, что ответ на эти вопросы не может быть сомнителен, а если он несомнителен, то следовательно...

Повторяю: я совершенно понимаю возможность людей такого закала и вполне сознаю законность той роли, которую они играют в сфере мысли. Тем не менее, это все-таки люди мысли, а не практического дела, или, говоря простым слогом, это люди кабинетные, которые имеют в виду человечество, в обширном значении этого слова, и, согласно с этим, отыскивают истину общечеловеческую, абсолютную, но которые вести человечество к осуществлению этой истины не могут. Причина такого практического бессилия заключается все в той же страстности мысли, о которой говорено выше, и которая естественно переходит в восторженность, упраздняющую необходимость для практической деятельности ясность представления о пространстве и времени. Таких людей никогда не бывает много, ибо появление их находится в зависимости от такой исключительной совокупности благоприятствующих условий, которая может быть объяснена только редкою случайностью. Да, пожалуй, оно и не худо, что их мало, потому что, еслиб их было изобилие, то в обществе непременно произошел бы застой и запустение. Это, собственно, аристократы мысли, которые могут быть полезными только в умеренных приемах. Задача их жизни до того высока и проста, что она удовлетворяется сама собой и не дает даже места для протестов и неудовольствий. Да, протесты, о которых идет речь, идут совсем не из этой среды, а из другой, из среды, так сказать, второго сорта, но ведущей из этого же источника свое происхождение.

След, оставляемый горячим словом истины, не ограничивается одною умозрительною сферой, но стремится проникнуть в самую жизнь. Сильные личности находят прозелитов, даже не давая себе труда искать их, а истина сама по себе до того привлекательна, что, однажды приютив в своих недрах человека, может смело рассчитывать на посильную с его стороны службу. Таких второстепенных и третьестепенных деятелей, дошедших до истины не путем самостоятельного мышления, но принявших ее готовою, уже гораздо более, и вот в этой-то скромной среде и зарождается первая идея о необходимости протеста.

Я с намерением употребляю здесь слово «скромность», потому что, в самом деле, вся заслуга второстепенных деятелей (впрочем, не малая) в том только и состоит, что, во-первых, они умеют отличить истину от лжи и добровольно становятся на сторону первой, а не последней, а во-вто-

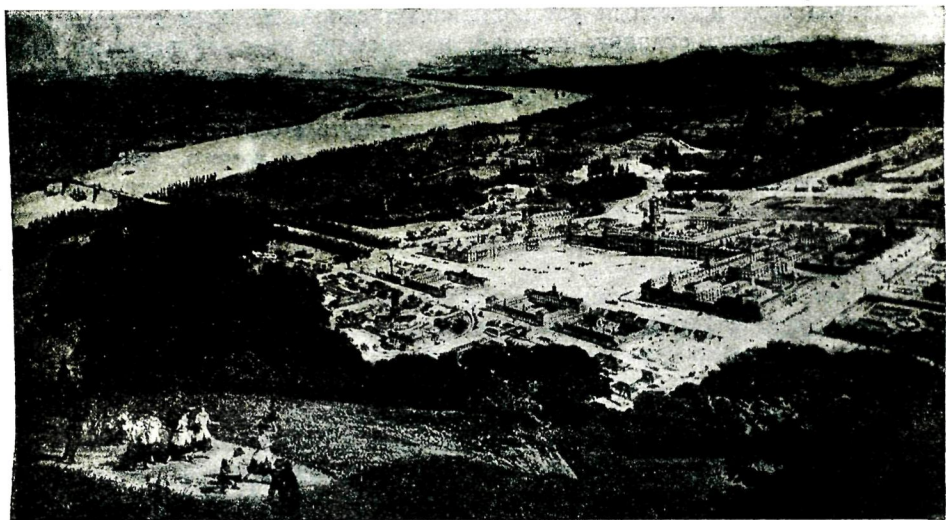
рых, что они служат проводниками истины в жизнь и делают ее мирским достоянием. Их роль — роль простых чернорабочих мысли, роль низводящая мысль с ее недостижимых высот, роль полезная, но не имеющая никаких прав на красоту. И чем теснее и даже ограниченнее они будут очерчивать сферу своей деятельности, чем менее будут прикидываться аристократами мысли, тем будет лучше, ибо только в таком случае протест их может иметь действительную силу, когда он не разбрасывается в беспорядке, а всю свою энергию сосредоточивает на известном, совершенно определенном пункте. И в этом деле, как и во всех других делах человеческих, большую роль играет разделение труда и специализация его; в этой дробности труда человек находит большую для себя помощь, но для того, чтоб эта последняя была действительна, необходимо, чтобы соблюдение этого закона было обязательно. Отсюда новое подтверждение: быть скромным, не расплываться в общностях и не лезть в аристократы.

Но положение мыслителя самостоятельного слишком привлекательно, чтобы не соблазнить собою даже таких людей, которые ни в каком случае не могут претендовать на него. Бедные смертные, которых все значение заключается в их благонамеренной восприимчивости, охотно называют себя аристократами мысли, забывая, что у них совсем не имеется налицо необходимого для такого титула умственного капитала, и что, вследствие этого отсутствия, самый характер их деятельности, по необходимости, должен быть совершенно иной. И вот они начинают облакаться ризой таинственности, делают истину каким-то недоступным для масс кастическим достоянием и вообще прикидываются понимающими более того, нежели понимают в действительности. Разумеется, на деле они никого этим не обманывают (ибо всякому, даже самому недалекосидному человеку нет ни малейшей трудности угадать в них совсем не самостоятельных мыслителей, а просто любопытную коллекцию хорошо обученных снигирей), но все-таки такого рода самообольщение производит не малую путаницу в ходячих понятиях и даже в общем направлении общественной деятельности.

Путаница эта происходит именно вследствие того, что люди эти — совсем не мыслители, а по самой своей природе только пропагандисты и практические деятели. Поэтому-то главный и самый типический признак их деятельности составляет все-таки протест, но так как, вследствие разных причин, о которых говорено выше, характер их деятельности (или, лучше сказать, их мнение об этом характере) искусственно извращается, то это извращение не остается без влияния и на характер протеста. Вместо того, чтобы быть живым и целесообразным, этот последний поражает своею вялостью и апатичностью, и в результате превращается, наконец, в тот жалкий протест своими боками, речью о котором я начал настоящее мое обозрение.

Предупреждаю, однако, читателя, что я вовсе не имею здесь намерения ни порицать, ни тем менее смеяться над кем и над чем бы то ни было. Цель у меня одна: показать, что опыт для того существует, чтобы мы им пользовались, и чтобы мы избегали тех вольных и невольных ошибок, в которые впадали наши предшественники. И если я при этом, по неумелости или несовершенному знанию отечественного языка, не всегда употребляю те самые слова, которые наиболее в данном случае пригодны, то читатель обязывается поправить меня; если я выхожу от величин неизмеримо малых, то ничто не должно препятствовать читателю продолжать мою работу самостоятельно и доходить собственным умом до величин неизмеримо больших; если я (вследствие волнения чувства) ставлю несколько точек там, где должно стоять несколько слов, то читатель обязывается все эти пробелы пополнить, потому что он в волнении чувств не находится.

И вот эти люди протестуют. Протест их заключается: во-первых, в признании всех существующих форм жизни *о д и н а к о в о* неразумными и *о д и н а к о в о* лишенными способности развиваться, и, во-вторых, в уклонении от всякого участия в деятельности, которая имеет хотя малейшее отношение к действительности. Первая половина этого положения, очевидно, пришла с чужого голоса, без всякой проверки ее достоинства в практическом смысле, вторая половина составляет необходимое практическое последствие принятой на веру первой мысли. И таким образом люди, весь смысл деятельности которых заключается именно и единственно в практической ее полезности, на первых же порах впадают в безвыходное противоречие с самими собой, с своей ограниченной природой, с своим чернорабочим назначением. Противоречие это может быть выражено так: мы люди дела, а не мысли, но наше дело заключается именно в том, чтобы не было никакого дела.



ИЗОБРАЖЕНИЕ ФАЛАНСТЕРА ПО ИДЕЕ Ш. ФУРЬЕ

С литографии 1840-х гг.

Музей Революции, Ленинград

Одним словом, мы встречаемся здесь с повторением того же самого явления, которое некогда очень удачно формулировалось выражением «искусство для искусства», и над которым не мало-таки посмеялась наша литература последних годов. Но как ни язвительны были эти насмешки, и как ни решительно объяснена ею нелепость подобной бесплодной деятельности в области искусства, должно полагать, что она сама еще надолго осуждена вращаться в этом порочном круге. И в самом деле, упразднив понятие о служении искусству для искусства, она пришла все-таки к тому, что создала другое положение, совершенно ему равносильное: понятие о служении истине для истины. И хотя она прямо не формулирует своего учения в этом смысле, но разве оно не сказывается ясно в ее уклонении от разрешения насущных вопросов жизни, в отвлеченной вялости всего ее содержания! Правда, что это дает ей возможность держать себя осторожно, устраняться от множества ошибок, почти всегда неизбежных при практическом разрешении вопросов, и вообще с усердием и зоркостью наблюдать за своею собственною опрятностью, но...

Но как ни почтенна истина сама по себе, действительная мера ее поч-

тенности познается только тогда, когда она служит жизни. Жизнь требует, чтобы истина не господствовала над нею, а служила ей, и при том служила только в той степени, в какой она сама того хочет; жизнь не терпит перерывов и не убеждается идеалами, даже в таком случае, когда содержание этих идеалов имеет характер совершенно реальный; абсолютная истина действует неотразимо только в сфере мысли, то-есть именно в той сфере, которая до сих пор заявляла только о своей необыкновенной способности к обособлению и сектаторству, и хотя часть этого действия проникает неминуемо в сферу жизни, но проникает медленно и отрывочно. Причина этого последнего явления заключается в тех привычках или, лучше сказать, в тех узах, которыми со всех сторон обставлена жизнь обыкновенная, реальная, и которых совсем не знает жизнь мысли. Мысль свободна, тогда как над практическою деятельностью человека тяготеет и история, и настоящая его обстановка, и, наконец, обязательное предвидение будущего. Самое дрянное, самое неудовлетворительное практическое положение — и то имеет за себя известный установившийся строй, дающий деятельности человека особенную складку, которая, по крайней мере до поры до времени, делает его неспособным ни к какой другой деятельности. Никто, конечно, не позавидует положению нищего, да и сам он не очень-то подорожит своим ремеслом, однакож, чтобы исторгнуть его из этого положения и обратиться к промыслу более выгодному для него самого, необходимо употребить некоторое усилие и затратить известную долю времени. Ибо и у него уже образовались своего рода привычки, ибо его до известной степени даже тянет к нищенству, как к профессии, в которой он достиг до виртуозности.

Итак, если с одной стороны невозможно отрицать (да никто этого и не отрицает), что деятельность людей мысли необходима и плодотворна, что люди эти освещают человечеству путь и открывают для него новые законы жизни, то не следует отрицать и того, что огромное большинство их подмастерьев и учеников должно, наконец, убедиться, что оно совсем неспособно к подобной роли, что присвоением ее себе оно только производит путаницу и вредит тому самому делу, которому предпологает служить, и что какой-нибудь Кроличков, рассматриваемый как философ и новатор, стоит всего 15 коп. серебром, тогда как, если смотреть на него, как на расторопного малого, которого можно посылать за квасом в лавочку, то ему, быть может, и цены не сыщешь.

Назначение подмастерьев везде и всегда было чисто практическое, и непонимание этой истины всегда вело к самым плохим результатам, а именно: во-первых, к значительному потускнению самой мысли, во-вторых, к полному общественному застою, усугубляемому торжеством противных сил, и в-третьих, наконец, к личным, совершенно глупым, бесполезным и безрезультатным невзгодам, которые я отметил выше под общим выражением протеста своими боками. Следовательно, здесь весь вопрос заключается только в том, каковы должны быть границы, и каков характер предстоящей практической деятельности.

Прежде всего представляется вопрос, допускает ли практическая деятельность сохранение наших идеалов в их чистоте и неприкосновенности? Я понимаю, что для многих такой вопрос должен представлять существенную важность, но не полагаю, чтобы разрешение его представляло особенную трудность. Если мы хорошо уразумеем, что вся предстоящая деятельность именно в том и заключается, чтобы проводить эти идеалы в жизнь, то в то же время уразумеем и ту истину, что работа наша тогда только и может быть вполне успешна, когда эти идеалы будут всегда перед нашими глазами. Следовательно, заботиться об их чистоте и неприкосновенности мы вынуждены будем в видах собственных наших польз. Жизнь

может вводить в ошибки, недоразумения и заблуждения — это правда, но ведь все эти ошибки и недоразумения тогда только могут иметь в результате потемнение идеала, когда они вошли в плоть и кровь человека, когда они сделали его второю природою, когда они допускаются уже не как ошибки, а как естественное явление всей совокупности человеческой деятельности. Понятно, что [такое] положение дела может иметь место или тогда, когда никакого идеала, в сущности, никогда и не было, а была только пустая вывеска, гласившая о присутствии идеала, или же тогда, когда к деятельности приступается с наперед обдуманною недобросовестностью. Но об этих случаях и говорить нечего, потому что они составляют только исключение, ни мало не упраздняющее правило. В общем же смысле значение ошибки совсем не так важно, как можно предположить это с первого взгляда, потому что до тех пор, покуда она еще не ускользает от собственного анализа человека, ее допустившего, покуда этот человек может доказать себе, что в данном случае он уклонился от надлежащего пути, до тех пор, говорим, она никаким образом не может представлять серьезной опасности для идеала. Соглашаюсь, конечно, что практические последствия ошибки могут быть более или менее невыгодные, но в свою очередь не могу не принять во внимание и того обстоятельства, что все эти последствия, как бы они ни казались значительными, утопают, как капля в море, в общей сфере человеческой деятельности. Главный тон этой деятельности все-таки определится не чем иным, а именно идеалами, ибо сила последних достаточно велика, чтобы просочить их сквозь всевозможные жизненные противоречия, и человек, которого душе однажды они были доступны, уже не в силах до такой степени отказаться от них, чтобы сделаться попрежнему чем-то вроде *tabula rasa*.

Для подтверждения этой последней мысли прибегнем к примеру положительно невыгодному. Предположим человека самого слабохарактерного и мягкодушного, словом, такого человека, на которого прелестные голоса жизни оказывают особенно-чарующее влияние. Несомненно, что человек этот всего более доступен всяким внешним влияниям, что он легко допустит себя засосать всякому болоту, что он может быть и хорош, и дурен, и добр, и зол, смотря по среде, которая его окружает. Но несомненно также и то, что если он, когда-нибудь, вследствие стечения счастливых случайностей, дышал тем воздухом, в котором носилось слово добра и истины, то одного этого обстоятельства уже достаточно, чтобы повлиять на всю его жизнь. У него уже получится мерило для оценки своих и чужих действий, и как бы ни являлся он доступным для всякого рода влияний, все-таки между этими влияниями и им станет раз навсегда известная граница, за которую первым никогда не удастся перешагнуть. И как ни засасывай его болото, в с е г о его все-таки не засосет. Экземпляры такого сорта встречаются нам в жизни на каждом шагу, и мы были бы очень легкомысленны, еслибы вздумали пренебрегать ими. Это экземпляры драгоценные; это представители того среднего умственного уровня, который обыкновенно составляет достояние масс. На них, как на пробном камне, можно даже изучать как силу влияния идеалов, так и непосредственные результаты, производимые этим влиянием в массах.

Еще более резкий пример представляют так называемые ренегаты. Я не знаю в истории примеров счастливого ренегатства, кроме разве таких, когда ренегат переходит из одной ерунды в другую (эти называются людьмимышленными и обыкновенно бывают очень счастливы, ибо всевозможные ерунды равно дорожат ими). Где причина такого явления, как не в том, что человек, однажды узнав истину, уже не может удовлетвориться тою ерундой, в пользу которой он ее продал, и что из этого должно неминуемо произойти недовольство самим собою и полнейшее разочарование.

Он начинает понимать, что увлекся выгодами мнимыми, что понятие об истине и добре слишком прочно и глубоко пускает корни, чтобы можно было его утопить в первой попавшейся луже. И вот он старается поправиться; но так как при известных обстоятельствах поправки не может быть, то кончает тем, что пускает себе в лоб пулю. Это печальный конец всех вообще ренегатств, и причина его все-таки заключается в том неотступном преследовании идеалов, которое не может быть прекращено ничем... даже ренегатством.

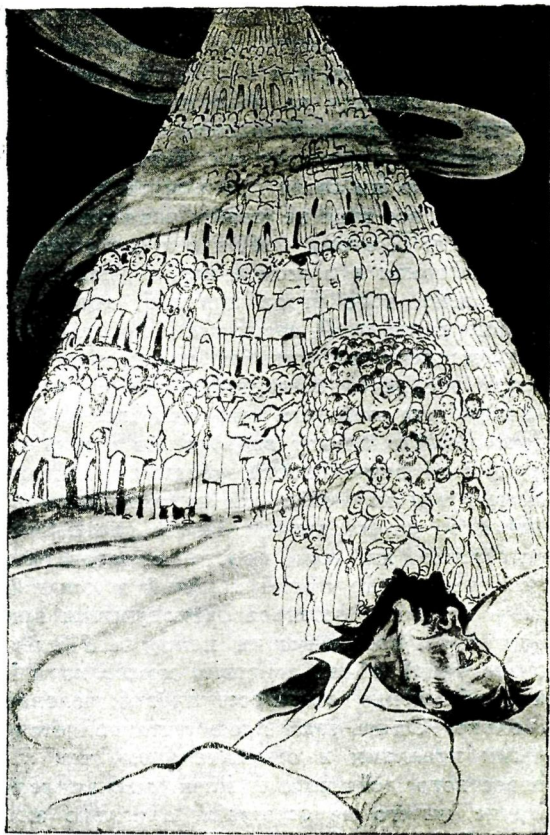
Следовательно, отказываться от практической деятельности из-за того, что прикосновение ее может повредить чистоте и неприкосновенности идеалов, совершенно неосновательно. Вера людей крепких и истинных не только не пошатнется от столкновений с действительностью, но еще более закалится в горниле ее; что касается до людей малодушных и слабых, то, во-первых, от них всегда не бог знает сколько пользы для дела верований и убеждений, а во-вторых, даже эта малая польза сделается равна нулю, если они с этими убеждениями, как с неким сокровищем, будут таить в своих муриях и утешать ими своих добродушных наставников.

Но чтобы окончательно развязаться с этим вопросом и доказать осязательно, что жизненные противоречия могут идти своей колеей, ни мало не подрывая коренных убеждений человека, я нахожу нужным привести еще несколько примеров.

Уважение к народу (принимая это выражение в смысле массы) и служение его интересам представляют, как известно, один из тех богатых жизненных идеалов, которые могут наполнить собой все содержание человеческой мысли и деятельности. Это истина, которую могут отрицать лишь очень ограниченные люди, не понимающие, что все общественные идеалы, как бы ни было велико их разнообразие, все-таки, в окончательном результате, сливаются и сосредоточиваются в одном великом понятии о народе, как о конечной цели всех стремлений и усилий, порабащающей себе даже те высшие представления о правде, добре и истине, которые успело выработать человечество. Системы самые нелепые и самые несправедливые — и те сознают это и не могут обойтись без того, чтобы не прикрывать свои нелепости и неправды мнимым служением интересам народа. Между тем, присматриваясь ближе к самому этому народу, к условиям его жизни, к его умственным и нравственным запросам, мы находим, во-первых, что он обладает очень малым количеством знаний, во-вторых, что в основании его обычаев и понятий лежит в большинстве случаев не здравый смысл, а предрассудок, и в-третьих, что его симпатии и антипатии очень часто бессознательны, а иногда даже и просто безобразно-ошибочны. Безразлично оправдывать массы в их движениях и симпатиях совершенно невозможно, потому что, однажды ставши на эту почву, можно очутиться очень далеко. Таким образом, повидимому, предстоит в этом случае одно из двух: либо оставаться глухим и слепым к жизни массы, либо отколотиться к ней презрительно. Но первое невозможно, во-первых, потому, что как бы ни был человек замкнут в своих идеальных сферах, он все-таки живой организм, в котором, даже помимо его воли, заговорит кровь, а во-вторых, потому, что сами массы, наконец, заставят его и видеть, и слышать, если он и усиливался затыкать себе уши и закрывать глаза. Презрительно же относиться к жизни народа тоже невозможно, потому что тогда наша мысль лишится своего естественного центра тяготения, делается пародией на мысль, бессвязно-болезненным бредом, а не мыслью. Следовательно, мысль, по необходимости, должна будет выйти из своей замкнутости и заботиться о том, чтобы установить себе связь с жизнью и отыскать для себя в ней приют. Потеряет ли она от того свою ясность и чистоту? — Нимало. Тут вопрос совсем не в том заключается, чтобы

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСКАРА КЛЕВЕРА
К ПОВЕСТИ ЩЕДРИНА «ЗАПУТАН-
НОЕ ДЕЛО», 1933 г.

Собрание художника, Ленинград



слиться с жизнью органически, слиться до оправдания ее нелепостей и пороков, а в том, чтобы объяснить себе эти последние, анализировать данные, которые представляет известный момент общественного развития, и установить отношение между ними и абсолютными требованиями мысли. С выполнением этих условий, путь, по которому надлежит идти, выяснится сам собою, путь чистый и прочный, путь, который заставит нас осторожно и без гнева относиться к жизненным уклонениям, но в то же время заставит видеть в этих последних не первородный какой-либо грех, вроде пятна несмываемого, а именно только временные и легко объяснимые уклонения. Такой путь не только не затемнит наших идеалов, но даже не подорвет наших надежд в будущем...

Другой такого же рода пример представляет собой критическая оценка как действий отдельного человека, так и явлений целого жизненного строя. С точки зрения чистого разума эти действия и явления являются нам совершенно безразличными, то-есть не заслуживающими ни похвалы, ни порицания, ни преступными, ни добродетельными; весь умственный труд здесь заключается единственно в объяснении, то-есть в сопоставлении явления с причинами, его произведшими. И если этот труд ведется логически, и, кроме того, если все подробности, определившие известное действие или явление, вполне раскрыты, то результат его неминуемо должен быть один: признание за фактом характера последовательности. Таким образом объясняются целые огромные категории преступлений, и статистика, приходя на помощь к этим объяснениям, неопровержимыми цифрами доказывает, что известные преступления совершаются лишь в из-

в известных условиях и даже в известной общественной среде. Убеждение в достоверности подобного закона есть одна из важных побед, сделанных человеческим разумом в области неизвестного, и полагает начало тому туманному взгляду на человеческие заблуждения, который, приобретает уже почти бесспорное господство в литературах всех цивилизованных народов, мало-по-малу начинает проникать и в самую жизнь. Тем не менее, как бы мы глубоко ни были проникнуты подобными воззрениями на человеческие действия, все-таки не можем воздержаться, чтобы не полагать между ними различия. К этому побуждает нас даже не собственная наша выгода (рассматриваемая в тесном и исключительно своекорыстном смысле), а выгода того дела, того строя понятий, которому мы сознательно или бессознательно служим. А сверх того, побуждает еще и то соображение, что в делах человеческих никакой прогресс не делается сам собою, а составляет результат целой совокупности человеческих усилий. Исходя из этой точки зрения, мы находим, что известным образом направленная человеческая деятельность вредит водворению в жизни истины, и хотя, анализируя мотивы этой деятельности, убедимся наверно, что она имеет свой законный смысл, тем не менее мы не затруднимся признать ее ложною и позаботимся об ее устранении. Какие употребим мы в этом случае средства, карательные ли, или просто образовательные, — это вопрос особый, но несомненно, что самый крайний и исключительный гуманист не останется, да и не может остаться равнодушным зрителем при виде преград, на каждом шагу возникающих между его идеалом и жизнью. Тем не менее, разве такой образ действия может хотя на одну линию подрывать основное убеждение о непреступности человеческих действий вообще? — Нисколько. Опять-таки здесь устанавливается лишь отношение между основными идеалами и относительною, так сказать, случайною преступностью известного действия, и практическая деятельность, устанавливая это отношение, ничего не осуждает, а только анализирует, проводит нужные параллели из всех этих посылок выводит заключение о вреде действия лишь в виду известных целей. Коли хотите, тут есть отступление от коренного правила, но отступление временное, вынуждаемое обстоятельствами, отступление, вполне сознающее, что оно отступление, и, следовательно, ни мало не нарушающее неприскосновенности своего правила.

Итак, повторяю: опасения относительно потемнения идеалов от практического столкновения с действительностью лишены всякого правильного основания. Такой уродливый результат может быть последствием или злонамеренной умышленности, мотивированной ложно понятою выгодою, или же совершенной нравственной и умственной негодности человека, заявляющего об идеалах. Но и тот и другой случай, как составляющие чистейшую аномалию в общем порядке, которому следует человеческая мысль в своем движении, не могут подлежать никакому серьезному обсуждению.

Но где должен быть почин практической деятельности, какой ее характер, ее границы? Ответ на эти вопросы следует отыскивать в тех целях, которые поставила себе в виду деятельность, и в той обстановке, которую она встречает на пути своем. Если животворящий и возбуждающий принцип деятельности заключается в идеалах, то круг ее действий и выбор орудий, которыми она может располагать в этом смысле, должны вполне определяться теми случайными обстоятельствами, среди которых происходит ее проявление. Одно только условие обязательно здесь: постоянно держаться на реальной почве, не обнаруживать слишком громадных запросов, не смотреть на действительность, как на воск мягкий, и видеть в ней продукт живых и сложных сил, над которым тяготеет целый исторический процесс, не ожидать слишком легких успехов и чутко прислушиваться ко всякой случайности, откуда бы она ни шла, которая может подвинуть

к данной цели. Условие, конечно, очень тяжелое, но надо сказать себе раз навсегда, что без соблюдения его никакой успех немислим, и все наши дела будут только беспорядочным метанием из угла в угол, которое не интересовать может, а только повергать в изумление.

Представьте себе адвоката, который взялся бы защищать перед судом обвиненного, и, вместо того, чтобы выполнить свою задачу просто, то есть, ставши на точку зрения судей (ибо они силою вещей поставлены в положение судей, а обвиняемый — в положение обвиняемого), шаг за шагом опровергнуть взводимые на его клиента напраслины (в глазах умного адвоката, раз решившегося взять на себя защиту дела, все обвинения должны быть напраслинами), наполнил бы свою защитительную речь очень гуманными рассуждениями о том, что общество само создает преступника, что оно прежде всего должно обратить свой арсенал кар против самого себя, что преступных действий в абсолютном смысле нет и не может быть, что следовательно наказание и в данном случае и вообще представляет такую бессмыслицу, о которой и говорить серьезному человеку стыдно и т. д. Я не отрицаю, что такого рода объяснения могут быть изложены очень ловко и даже более или менее увлечь за собой известным образом настроенную часть аудитории, но не могу отрицать и того, что в смысле защиты это будет совсем не защита, а скорее совершенное ее отсутствие, что суд, по выслушании объяснений адвоката, непременно обвинит подсудимого («разглагольствования-то эти мы знаем» скажет он), и что этот последний, конечно, будет горько раскаиваться в том, что прильнул к помощи этого слишком уж глубоко забирающего адвоката.

Я уверен даже, что скоро вслед за этим неудачным опытом защиты такой глубоко забирающий адвокат окончательно канет в Лету, как адвокат, и, по мнению моему, понесет только заслуженное. «Не мели, любезный друг, не мели! скажется ему в напутствие, а имей в виду прежде всего прямые пользы твоего клиента и, удовлетворяя им, старайся в то же время удовлетворять и своим идеалам. Этой последней цели ты можешь достигнуть, вовсе не пренебрегая выгодами клиента; напротив того, он даже послужит тебе рельефом, около которого будут группироваться твои доказательства, и тогда судья охотно преклонит к тебе свое ухо и не только признает обвиненного невинным, но и сделает из твоих объяснений необходимые выводы и изменения!»

Точно таким же образом (то-есть противоположным взятому мною в пример адвокату) следует поступать и во всех тех случаях, когда мы имеем дело с людьми непосвященными. Должно забыть стих:

Умолки, чернь непросвещена!

и помнить, что «чернь» эта заслуживает полного нашего внимания и что мы, подступая к ней, должны начать именно с той точки, на которой она стоит. Простодушный поселянин еще убежден в существовании ведьм и домовых, а потому, если мы желаем дать ему сведения о высших силах природы, независимых от этих ведьм и домовых, то обязаны подорвать целое мирозерцание, сложившееся в нем и глубоко пустившее корни. Для достижения этой цели может быть действительна только одна метода: это переход от понятий простых к понятиям более сложным, а отнюдь не другая метода, которая гласит: ты, братец, все врешь, а пошлая-ка, что я тебе стану говорить. Есть истина очень простая и даже пошлая: без арифметики невозможно изучение высшей математики, а между тем, несмотря на пошлость этой истины, ее нужно ежеминутно повторять, потому что привычка гениальничать и начинать всякое дело с конца до того овладела нами, что мы уже не видим ни перед собой, ни за собой ничего, кроме высот надзвездных.

Точно то же будет с нами, если мы к тому же простодушному поселянину приступим с соображениями чисто-практическими насчет беспечального жития. Он так привык думать, что всё сие так должно быть, как оно есть, и что всё сие должно лежать именно на нем, что даже не задумается над вашими соображениями, да и разговаривать, пожалуй, не станет, а просто пожалуется.

А мы, конечно, хотим совсем не того.

Да, умение сказать именно то, что нужно, и именно так, чтобы нас слышали и понимали, есть великое умение, которое дается очень немногим, но которым никто не имеет права пренебрегать. Всякий человек, сознающий в себе ту животворную искру, которая творит общественного деятеля, прежде всего обязан представить себе свою задачу со всею ясностью, должен строго отнестись к самому себе. И если человек этот, взвесивши внимательно все шансы pro и contra*, все-таки придет к деятельности только с теми, которые говорят, pro, то он очень скоро сойдет со сцены, потому что будет болтать о пирожках тем, для которых даже черный хлеб составляет лакомство, и которые, вследствие этого, примут его речи или за нарушение над их бедности и убожеством, или за тарабарскую грамоту, пригодную для потехи одного говорящего. Но еще и потому скоро сойдет со сцены такого рода деятель, что, во-первых, увидит себя в самом печальном одиночестве, проповедующим в пустыне и о пустыне, а во-вторых, он сам, постоянно раздражаемый представлением о пирожках, незаметно от самого себя заразится, если не презрением, то, по малой мере, полным равнодушием к тому черному, неприглядному хлебу, который составляет главный фонд скудного, насущного пропитания алчущих масс. Опять-таки мы, конечно, не этого добиваемся, а добиваемся того, чтобы наши пирожки все понимали и все их предвкушали.

Но так как мы более заботимся о светозарных наших грезах [и о том]**, что скажут об нас вислюхие и юродствующие, то из этого выходит то, весьма печальное для нас и для дела, последствие, что мы из кожи лезем, чтобы создать какое-то окутанное мраком «сектаторство», не мраком тайны окутанное, а мраком гораздо вреднейшим и глупейшим: мраком перепрежванных мыслей и непонятых выражений.

Страсть к сектаторству достаточно-таки распространена у нас на Руси, и в большей части случаев мы довольно ловко управляемся с нею. По крайней мере, большинство так называемых расколов свидетельствует о замечательных организаторских способностях русского человека и о далеко не заурядной его силе в деле пропаганды. Мы не можем произнести слово «раскол», чтобы с этим словом в мыслях наших не соединилось представление об организации плотной и почти непроницаемой. Это последнее качество, то-есть непроницаемость, представляет, конечно, их порочную сторону, но в то же время оно свидетельствует и о силе, богатой задатками в будущем. Если правда, что расколы безразлично замкнуты и для света, и для тьмы, то правда и то, что это свойство временное, составляющее результат случайных, неблагоприятствующих обстоятельств, и что с наступлением иных условий оно должно исчезнуть само собою. Но организаторские способности останутся навсегда и, вынеся на себе целое историческое иго, конечно, могут получить в будущем только более роскошное и пышное развитие.

Совсем иной характер представляет сектаторство, так сказать, высшей школы. Здесь организаторские способности равняются нулю, и взамен того является безграничная способность расплываться и растворять все

* За и против.

** В корректуре: потому.

двери настежь. Здесь даже нет сектаторства в смысле организации, а есть одиночное сектаторство мысли, то горькое, базнадежное сектаторство, которое делает человека чужим среди живого общества...

И опять-таки повторяю: я очень хорошо понимаю, что люди мысли страстной и пронизательной могут оставаться в полном отчуждении от дел мира сего; я понимаю даже, что они имеют право упорствовать в этом отчуждении, несмотря на всевозможные удары судьбы. У них и цель перед глазами безмерная, высокая, да и сами они стоят так высоко, что повесть их жизни питает собой целые поколения, следовательно, их роль в этом отношении совершенно особенная. Но подобное же отчуждение со стороны простых смертных, которых всё значение заключается, как я сказал выше, единственно в их благонамеренной восприимчивости, не только не понятно, но и положительно зловредно. Оно отнимает у обновляющей мысли те укрепления, которые ей необходимы для действия, и лишают ее естественной ее защиты. Являются целые легионы самозванцев-мыслителей, да и не легионы даже, а просто сброд, в котором каждая отдельная личность мнит себя самостоятельной и порывается выделить себя из общей связи. Последствие такой жалкой неурядицы может быть одно: посрамление мысли и всякого рода невзгоды для ее передовых служителей...

Тогда как, сознайся все эти мнимые полководцы, что они не более, как простые нижние чины мысли, не озирайся они слишком самолюбиво на свои заимствованные павлиньи перья, то, нет никакого сомнения, дело обновляющей мысли имело бы совершенно иную физиономию. Они могли бы принести ему помощь скромную, но действительную, и если бы не воз-



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОСКАРА КЛЕВЕРА
К ДРАМАТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ
«ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ СВИНЬЯ» ИЗ
ЦИКЛА «ЗА РУБЕЖОМ», 1933 г.

Собрание художника, Ленинград

несли его на вершину славы, то, во всяком случае, оградили бы от разорения.

А они, вместо того, протестуют, и протестуют не только своими боками, но и боками своих поилцев и кормильцев! И глупо, и смешно, и горько...

На днях один из знаменитейших наших ерундистов упрекнул меня: вы, говорит, для глуповцев пишете, вы глуповский писатель! И думал, вероятно, что до слез обидел меня такою острою речью. А вышло совсем наоборот: я принял эту речь себе за похвалу. Неужели же вы думали, милостивый государь, что я пишу не для глуповцев, а желаю просвещать китайского богдыхана? Нет, я в мыслях не имею такой высокой мысли и предоставляю ее ерундистам высшей школы. Я деятель скромный, и в этом качестве скромно разрабатываю скромный глуповский вертоград. Поэтому-то я и говорю с глуповцами языком, им понятным, и очень рад, если писания мои им любезны.

Ибо, огражденный любовью глуповцев, я могу дерзать на многое: могу не обращать даже внимания на то, что будут говорить об моей деятельности наши литературные хлысты, скопцы, нетовцы, адамиты, купидоны и прочая ерундоносная братия.

2. НАША ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Итак, история утешает. Бедные труженики мысли, бескорыстные создатели будущих судеб человечества должны раз навсегда убедиться в этой истине: история пошлет заочное воздаяние за их подвиги, лишения, а иногда и за преждевременную мученическую смерть. Сходя в могилы одинокими, гонимыми, оклеветанными, да не впадут они в отчаяние, ибо имеют право сказать себе: мы умираем, но мысль наша будет жить и восторжествует в истории. А так как, сверх того, они в состоянии всегда с полною ясностью определить ту сумму добра, которую прольет в мир торжество их мысли, то это должно помочь им спокойными глазами взирать и на те преследования, лишения и всякого рода покаяния, которые составляют обычную обстановку их жизни. Что лишения? что страдания? — все это не что иное, как гнилой плод временного умственного и нравственного разложения, и нет сомнения, что когда-нибудь да заклеят же их «история» надлежащим именем. Мало того: человек, которого мысль однажды познала сладость страстного убеждения и жадно к нему прилепилась, может идти даже далее этого отрицательного спокойствия; он может не только равнодушно смотреть на жизнь с ее темною свитой скорбей, неудач и невзгод, но и желать, страстно желать этой жизни, несмотря на ее скорби, невзгоды и неудачи. Ежели Иоанн Гусс, всходя на эшафот, имел право думать: я умираю, но мысль моя сделала свое дело, и семя, ею брошенное, закралось, помимо их воли, даже в сердца моих мучителей, то Фурье, ежедневно ожидавший посещения того фантастического миллионера, который, по расчету его, должен был дать ему средства для основания фаланстера, шел еще далее: он надеялся найти утешение не только в истории, но и в самой действительности. Что помогало этим людям с полным бесстрашием смотреть в глаза не только смерти, но самой жизни? Что не допускало их своротить с однажды избранного пути, несмотря на то, что личные и ближайшие их интересы, быть может, явно были противоположны их настойчивости, и они сами очень хорошо видели и понимали это? Им помогала страстная их мысль, их поддерживало живое и могущественное убеждение, что эта

мысль не замрет и не погибнет бесследно, какую бы горечью ни пропитана была вся обстановка, среди которой ей суждено развиваться. Да, мысль страстная, мысль, доведенная до героизма, может сама по себе представлять неиссякающий и притом столь мало фантастический родник живых наслаждений, что человек, вкусивший сладость этого высшего блага, легко приходит в то возбужденное состояние, которое позволяет ему ко всем прочим благам относиться если не с презрением, то и не придавая им более того значения, которое обыкновенно придается вещам второстепенным или побочным.

Все это так, все это несомненно. Но отчего же от «исторических утешений» как будто бы отзывается иронией? Отчего большинство не только не увлекается ими, но даже совсем их не понимает? Отчего произносящий их уподобляется, в общем представлении, или сытому богачу, который, плотно пообедав, говорит нищему: бог подаст! или озлобленному бедняку, который то же самое: бог подаст! не без иронии говорит такому же, как и он, забитому и голодному бедняку? или, наконец, бедняку восторженному, который совершенно искренно (хотя и без малейшего основания) верит, что вот развернется немилостивое доселе небо и пошлет на завтра ту манну, которая напитает его? «Дождись! пошлет!» говорит обыкновенно толпа такому искренно убежденному, и проходит себе мимо, даже не подарив его взором участия. Уже ли это непонимающее, глумящееся большинство до того ограничено и лишено идеала, что неспособно сознать и усвоить себе даже столь простое понятие, как то, что убеждение, верное и справедливое в своей сущности, непременно должно принести плод в будущем, что чем ближе это будущее, тем оно желательнее, что не оттягивать его приближение надлежит, а, напротив того, всеми средствами ускорять, и что, наконец, носители такого рода убеждений не только не должны быть побиваемы камнями, но имеют право на всякого рода ограждения со стороны толпы?

К сожалению, во всех этих упреках, делаемых большинству, много правды. Если людей мысли, людей убежденных можно укорить в склонности к утопиям, в этом виновато большинство. Если в этих утопиях нередко звучит нечто странное, несбыточное, преувеличенное, то во всем этом опять-таки виновата толпа. Большинство само всегда вызывает на преувеличения; оно вызывает не непосредственно, конечно, а систематическим непризнанием и преследованием той правды, которая составляет первоначальное зерно утопии. Еслиб не было этого постоянного и жесткого *fin de non recevoir**, которым толпа постоянно и, в большей части случаев, без всякого соображения встречает каждого, вносящего новую мысль в ее жизненный строй, то не могло бы существовать и преувеличений. Человек, которого мысль на каждом шагу встречает себе отпор, и даже не отпор, а простое и бездоказательное непризнание, весьма естественно всё глубже и глубже уходит в нее, и, не будучи в состоянии, вследствие неприязненно сложившихся обстоятельств, поверить ее на живой и органической среде, впадает в преувеличения, расплывается, создает целую мечтательную обстановку и в конце концов мысль совершенно ясную, простую и верную доводит до тех размеров, где она становится сбивчивою, противоречащею всем указаниям опыта и почти неимоверною. Не довольствуясь отвлеченною сферой, которая может доставить ей лишь временное и притом призрачное питание, мысль ищет для себя практических применений, ибо в них одних может познать свою силу, в них одних может найти материал для дальнейшего развития — и встречает лишь пустоту или прямое, голое отрицание. Но потребность

* Отказа в признании.

практических, жизненных применений слишком велика, чтоб можно было без существенного и совершенно невознаградимого ущерба отказаться от нее — и вот создается целая своеобразная обстановка, где действительное, или основанное на действительности самым странным образом перемешивается с гадательным и фантастическим. И когда, наконец, эта смесь истины и лжи, здорового и болезненного выходит на суд толпы, то последняя не дает себе труда отличить правдивую мысль, которая, собственно и составляет неотъемлемую собственность новатора, от наносной обстановки, которая есть результат систематических ее, толпы, несправедливостей, а прямо указывает на эту последнюю, и уж атакует же, рукоплещет же эта захмелевшая, растленная толпа.

Повторяю: большинство виновато; не будь оно до такой степени тупо-консервативно, не держись так упорно той избитой и никуда не годной колен, в которой оно гибнет, само того не подозревая, мысль не знала бы преувеличений, а, напротив того, всегда имея перед собой возможность скорой и надежной проверки, поневоле ограничивала бы себя именно теми размерами, которые в данную минуту пригодны. Утопия потеряла бы повод для существования...

А покуда, этот повод еще есть, покуда, никакое новое жизненное начало не может пробить себе дорогу, не подвергаясь опасности быть заподозренным в чем-то мятежничестве и угрожающем общественному спокойствию. И бедные, бескорыстные труженики будущего поневоле должны искать утешений в истории...

Что в этих последних скрывается очень значительная доза иронии — это не может подлежать никакому сомнению. Прежде всего, уже самая возможность такого рода утешений ясно свидетельствует о некоторой ненормальности в той совокупности жизненных условий, при которых она допускается. Всякая мысль, всякая истина, кроме результатов исторических и отдаленных, непременно должна иметь и непосредственный, ближайший результат. Существенный интерес мысли, конечно, не в том заключается, чтобы ее не признавали и не допускали в жизнь, а в том, напротив, чтоб как можно скорее получить возможность доказать на деле правдивость и силу, в ней заключающиеся. Упрек в несвоевременности, идеализации и каких-то скачках, обыкновенно делаемый в подобных случаях, всегда не основателен. Как ни далеко провидит мысль, но процесс ее развития всегда спокоен и ровен; она связана известными логическими законами, которые не позволяют ей урывками переходить от ближайшего звена к отдаленному, не допускают оставлять между ними промежутков, и ежели нередко встречаются примеры противного, ежели мысль с особенною страстностью останавливается на результатах отдаленных, оставляя перед ними как бы пустоту, то это именно доказывает ту истину, о которой было говорено выше: что мысль, при самом своем появлении, не встретила себе ни сочувствия, ни нужной для своего осуществления среды. Следственно, если мысль, питающуюся отдаленными надеждами, и можно, с известными оговорками, назвать ненормальною, то тем с большею основательностью следует присвоить это название тем жизненным условиям, которые порождают для нее подобное положение. Среда, в которой такое явление терпится, есть положительно среда растленная, враждебная всему честному и разумному, а человек, осужденный жить в такой среде, есть человек несчастный, несмотря ни на какие «исторические утешения». Нет, конечно, сомнения, что ни в органическом, ни в умственном мире ничто не пропадает бесплодно, и что следственно мысль человеческая, какими бы неблагоприятными условиями ни была она обставлена, все-таки где-нибудь и когда-нибудь даст свой отпрыск, но с другой стороны, справедливо и то, что в сфере

разумной никакое угнетение немыслимо, что там оно всецело и немедленно обращается во вред самим угнетающим условиям. Мысль — то же семя, которое должно показать свой рост немедленно вслед за тем, как оно брошено в землю. Ежели сеятель, не видящий этого роста, будет утешать себя тем, что семя все-таки не до конца изгибло, что оно посредством иного органического процесса в той или другой форме все-таки даст известный результат, то, хотя утешение такого рода нельзя назвать ни бессмысленным, ни смешным, тем не менее невозможно не согласиться и с тем, что это утешение половинное, утешение, которое может назваться этим именем лишь за недостатком других более существенных и положительных утешений.

Но и помимо этого, ежели мы ближе вникнем в самую сущность так называемых «исторических утешений», то убедимся, что они возможны только для мысли восторженной, страстно-возбужденной. Теперь спрашивается: при каких условиях может быть мысль доведена до возбужденного состояния и встречается ли в этом последнем существенная необходимость для того, чтобы правильность мыслительного процесса была вполне обеспечена? Конечно, творческий процесс мысли всегда сопряжен с известного рода возбуждением умственных сил человека; конечно, развитие мысли само по себе может служить источником наслаждений и восторгов самых действительных, но ведь в настоящем случае о такого рода возбуждении мысли не может быть и речи. Это возбуждение, если можно так выразиться, светлое, чуждое всякой горечи; это возбуждение торжествующее, предвидящее скорую и несомненную победу. Мысль напряжена, но спокойна; она сознает себя восторженной, но не потому, чтобы провидела необходимость жертв или самоотвержения, а потому, что впереди ее ожидает несомненный успех. И ежели это страстное, ликующее состояние мысли смущается, по временам, сомнениями в ее практической стоимости и применимости, то сомнения эти почти всегда касаются лишь подробностей. Мысль может потерпеть частные поправки, но сущность, но зерно ее останется нетронутым. И эта уверенность в полной разумности среды, для которой она предназначена, придает ей особенную энергию, которая, однако же, отнюдь не противоречит полному спокойствию и самообладанию. Совсем другого рода характер имеет возбужденное состояние той мысли, которая ожидает себе утешений только от истории. Здесь возбуждение есть всегда прямой результат бессовестным образом сложившихся условий, результат неудач, гонений и всякого рода насильств. Человек мысли приводится в восторженное состояние не ожиданием торжества, но ожиданием тех пыток, которые готовит ему будущее. В его восторгах есть нечто болезненное, лихорадочное, в них есть даже зерно своего рода фанатизма. Самое развитие мысли не может следовать своему естественному пути, ибо на каждом шагу подвергается насильственным перерывам... Вот положение восторженной мысли, питающейся «историческими утешениями», положение, исполненное яда, и переносимое только благодаря тому искусственному возбуждению, которое его сопровождает. Понятно, что условия такого рода далеко не необходимы для того, чтобы обеспечить мысли ее ясность, и что, напротив того, они могут только вредносным образом на нее действовать.

Итак... но прежде нежели продолжать, я должен оговориться. Я знаю, что найдутся люди, которые из предыдущих моих слов непременно выведут нечто грубое и пошлое. Скажут, например, что я пропагандирую теорию каплуныего самодовольства и еще более нелепого выжидания; скажут, что я бросаю камнями в тех лучших людей, которые запечатлели силу своей мысли великим подвигом самоотвержения... Таких усердных толкователей я прошу прочитать мою настоящую хронику повнимательнее. Быть

может, по зрелом размышлении, они убедятся, что здесь идет речь вовсе не о самодовольстве и выжиданиях, и всего менее о бросании камнями. Но чтобы помочь им в уразумении истинного смысла моих слов, я необходимо должен войти в некоторые разъяснения. Уже в самом начале настоящей статьи я заявил мое полное сочувствие тем лучшим людям, которые не только мыслят, но и отстаивают свою мысль с страстностью, доходящей до самоотвержения. Прошу верить, что заявление это вовсе не изворот, и что слова, сказанные мною по этому поводу, совершенно чужды всякой иронии. Сам по себе взятый, жизненный подвиг этих людей, не только в высшей степени замечателен, но вообще такого свойства, что напоминание об нем, и притом беспрестанное, непрерывающееся напоминание составляет предмет существенной и настоятельной необходимости. Бывают такие горькие минуты в жизни человечества, когда нужно без устали твердить ему о самоотвержении, о великой, очищающей роли самопожертвования... даже, пожалуй, об аскетизме. Это те минуты, когда человек мысли обязан обладать всею страстностью души, полным энергическим сознанием всей правоты и прочности своего дела, чтобы не оставить или проклясть его; это минуты, когда одичалое большинство, с одной стороны под влиянием самодовольного и дешевого разврата, с другой, вследствие гнета невежества и всякого рода материальной и духовной нищеты, доходит до полного умственного онемения, до остревшего отрицания всякой мысли, тревожащей его неподвижность. В такие эпохи самоотвержение есть обязательный закон для всего мыслящего, и предание о взявшем на себя бремя общественных недугов встречает себе как нельзя более своевременное осуществление. Но уже одно то, что о такого рода положении невозможно говорить без глубокого нравственного потрясения, свидетельствует о его ненормальности. Конечная цель человека, как в частности, так и в сфере общей, все-таки счастье, и ежели вследствие целого строя обстоятельств, представление о «счастье» до такой степени извращается, что может итти рядом с представлением о всякого рода нравственных и физических истязаниях (ибо есть люди, которые считают свой подвиг неконченным, ежели он не запечатлен страданием), то это свидетельствует не о чем другом, как о глубоком нравственном распадении целого общества. Следовательно, ежели и встречается необходимость твердить о необходимости самоотвержения и проч., то это необходимость печальная; ежели настает нужда утешать людей ссылками на историю, то это нужда прискорбная, за которую чувствуется кровь. Во всяком случае, необходимость эта еще громче и настоятельнее говорит нам о другой необходимости: о необходимости как можно скорее избавиться от нее. Это своего рода черная немочь, с разницей, что последняя губит безразлично и цвет человечества и негодное его отребие, а первая исключительно направляет свою разрушительную силу на то, что есть лучшего и доброго на земле.

Итак, не осуждение, и тем менее насмешку, а напротив того, слово сочувствия хочу я послать тем людям страстной мысли и непоколебимого убеждения, которые в истории ищут и обретают себе силу, укрепляющую их в борьбе с жизненною неурядицей. Эти люди выполняют свою миссию как могут и насколько могут, и ежели человеческая нива представляется нам усеянную безвременно погибшими жертвами, то это еще отнюдь не значит, что жертвы эти бесплодные или бесследные. Но, рядом с этим сочувствием, я хочу высказать еще и другую мысль: не достаточно ли жертв? Оглядимся, поищем, нет ли других утешений, кроме тех, которые предлагает история? Вопрос этот возвращает меня к прерванной нити моих размышлений.

Выше я сказал, что в преувеличениях мысли более всего виновато

большинство, которое почти всегда неприязненно относится ко всему новому, не представляющему прямых и наглядных выгод. Но, с другой стороны, если мы пристальнее вникнем в историю духовного и нравственного развития человеческих обществ и примем в соображение ту страшную медленность, которая всегда сопровождает накопление и распространение знаний в этих обществах, то найдем себя некоторым образом в лабиринте, в котором всё до такой степени спутано, что отделить виноватых от невиноватых почти совершенно нельзя. Я очень хорошо могу, например, понимать неправильности известного порядка, а сверх того могу даже постигать и возможность иного, лучшего общественного устройства, но старый порядок меня давит всем своим искони накопившимся гнетом, но он вяжет мне руки и налагает печать молчания на уста. Может быть, нас и много таких, которые могли бы сойтись и столкнуться друг с другом, может быть даже, что в самое большинство уже проникло новое слово, что оно носится, так сказать, в воздухе; но мы, сочувствующие этому слову, не знаем друг друга, мы рассеяны, как иудеи, по лицу земли, у нас нет центра, около которого мы могли бы сплотиться, — и вот хорошее слово не выговаривается, и долго еще томится человечество в оковах старого предрассудка (ведь бывает же, что положение вещей, наглядно невыгодное для самого большинства, все-таки существует многие десятки лет, искусственно, защищаемое незначущим меньшинством, успевшим сплотить и организовать себя). Виноват ли я, понимающий, сознающий и чувствующий, в том, что не протестую против этого предрассудка, да и обязан ли я протестовать? Нет, я не виноват, ибо всюду, куда я ни обернусь, вижу только свидетельство своего бессилия и беспомощности, ибо мало сознавать ненужность и вред предрассудка, а нужно еще притти к убеждению, что силы, необходимые для его сокрушения, имеются в наличности и притом достаточны для того, чтобы надолго не скомпрометировать дорогого дела. Ибо протест дело великое, и для людей, не выходящих из общего уровня, почти немыслимое без ясных и верных шансов на успех...

Все это, конечно, нимало не умаляет подвига тех, которые, несмотря на малые шансы успеха, все-таки протестуют, все-таки страстно преследуют свою мысль сквозь все неудачи и препятствия. Но то, что весьма естественно в личности исключительной, особенно щедро одаренной природою, то является анахронизмом по отношению к заурядному человеку толпы. Последний вовсе не обязывается ни быть героем, ни самоотвергаться, ни жертвовать собою, и всё, что от него можно желать, заключается в том, чтобы он был настолько понятлив, чтобы дело добра и истины находило в нем более сочувствия, нежели дело зла и лжи. Заурядный человек, по самой природе своей, слишком ограничен, чтобы отдаленные цели предпочитать ближайшим и непосредственным, чтобы искать для себя утешений в истории, а не в действительности; но все это не мешает ему быть человеком, и не лишает его права на то, чтобы на него смотрели именно как на человека, а не как на презренную тварь. Правду сказал некто: Прасковья Петровна отнюдь не виновата в том, что она родила Александра Федорыча, а не Вильгельма Карлыча, ибо она никому и ничему не обязывалась родить Вильгельмов Карлычей. Точно так же и Александр Федорыч нимало не виноват в том, что его родила Прасковья Петровна, а не Минна Ивановна. И ежели Александр Федорыч имеет способности умеренные, ежели он положительно отказывается от намерения быть героем, то это нисколько не препятствует ему называться человеком и требовать, чтоб это качество было признаваемо в нем и со стороны других, и не только других Александров Федорычей, коими кишит человеческая нива, но и Вильгельмов Карлычей, составляющих на

этой ниве редкое и ценное произрастание. Мало того: заурядный человек даже не имеет права быть героем, во-первых, потому, что, геройствуя он только, повредит тому делу, в пользу которого геройствует, а во-вторых, и потому, что современное человеческое общество совсем еще не в таком положении, чтобы могло вынести неограниченное число героев; ему покуда нужно, чтоб большинство его состояло из людей чернорабочих, заурядных, с которыми можно обращаться без ненависти, но и без благоговения.

Но всё, что я сказал об отдельных людях толпы, еще с большим основанием применяется к самой толпе. Отдельный человек, хотя бы и самых умеренных способностей, имеет шансы очутиться в таких благоприятных обстоятельствах, которые могут воспитать его. Это может сделать его если не заправским героем, становящимся таковым вследствие собственного движения страстной души, то человеком, преданным делу, преданным потому, что продолжительная обстановка жизни и постоянное повторение явлений известного характера породили в нем привычку, отказаться от которой ему гораздо мудренее, нежели принять даже такое положение, которое обещало бы наибольшую сумму спокойствия и материального благосостояния. Несравненно труднее разрешается подобный вопрос для толпы, в ее совокупности. Она слишком огромна и разнообразна, но поэтому-то самому в ней странным (впрочем только повидимому странным, а в сущности естественным) образом сочетались и слабость, и власть. С одной стороны, огромность содействует ее разрозненности, а эта последняя положительно устраняет все средства к тесному соглашению и в то же время полагает непреодолимое препятствие к принятию каких-либо решений, кроме тех, которые навязываются рутинною, или, говоря деликатнее, силою обстоятельств. Исключений из этого правила немного, и ежели мы не можем отвергать, что у толпы все-таки бывает общий тон, то это именно тот тон рутины, который легко дается всему

«ПОРФИРИЙ ПЕТРОВИЧ»

Перед вами восстает картина Иакова, окруженного маленькими Рувимами, Иосиями, не помышляющими еще о продаже брата своего Иосифа.

Так на лоне матери-природы сладко отдохнуть ему от тревог житейских, сладко вести кроткую беседу с своею чистою совестью, сладко сознать, что он человек, казенных денег не расточающий, свои берегущий, чужих не желающий.

Рисунок П. Анненского к «Губернским очеркам» из «Сына Отечества» 1857 г.



ограниченному и близорукому, и который постоянно проходит сквозь жизнь толпы, по временам сдобриваемый, а по временам подвергающийся более или менее значительной порче. С другой стороны, та же громадность толпы весьма естественно дает ей чувство силы; осматриваясь кругом и не видя себе конца, она должна ощущать некоторое самодовольство, должна сознавать, что в ее массе есть что-то неодолимое, решительное, не терпящее отговорок. Отсюда ее властность, ее способность увлекаться зрелищем материальной силы, а так как эта властность постоянно парализируется тою внутренней слабостью, о которой говорено выше, то из сочетания этих двух качеств происходит обстоятельство, крайне неблагоприятное для воспитания толпы. Разрозненность, устраняющая возможность обдуманности и соглашения, и массивность, фаталистически парализирующая движение, — вот условия, среди которых совершается воспитание толпы, условия, как видится, далеко для нее не полезные.

Итак, если мы с одной стороны сочувствуем людям мысли, которые, несмотря на гнет обстоятельств, делают свое дело, в чаянии, что оно не погибнет, и что история, рано или поздно, засвидетельствует об их торжестве, то с другой стороны находим и смягчающие обстоятельства для большинства, для того большинства, в котором именно и заключается гнетущее для мысли начало. И мы отнюдь не впадаем в противоречие, допуская существование рядом двух столь противоположных положений. Но только констатируем живой факт в том самом виде, в каком он существует в природе. В самой действительности существует этот глубокий антагонизм между толпою и людьми мысли, в самой действительности есть нечто такое, что заставляет их взаимно исключать друг друга, и до тех пор, пока не устранится на деле причина, породившая такое явление, прогресс человечества хотя и нельзя будет признать явлением мнимым, но, во всяком случае, процесс, через который ему суждено пройти, будет процессом медленным и мучительным.

Для человека сколько-нибудь добросовестного положение столь шаткое не может не быть предметом серьезных и горестных размышлений. Силою вещей он поставлен между двумя равными крайностями, из которых одна имеет за себя силу разума, а другая — силу материальную; если победит последняя, то человечество, несомненно, должно будет притти в дикое состояние и погибнуть; если победит первая... но может ли она победить? в праве ли победить? и что такое, наконец, самое это слово: «победить»?

В мире разумном, в том идеальном мире, до представления которого может, по временам, возвыситься наша мысль, насилие немислимо; там прежде всего и над всем господствует равноправность и правомерность отношений. Возьмите для примера какие хотите социальные теории (ныне называемые утопиями) — и везде вы найдете, что эти, а не иные какие-либо основы составляют краеугольный камень их общественных построений и комбинаций. Отнимите эти основы — и разумный мир распадается сам собою и уступает место миру случайному, в котором не только ничто не имеет определенного места, но самое добро является чем-то произвольным и до крайности непрочным. Итак, насилие неразумно и немислимо — это несомненно, но что же такое «победа», как не насилие, облеченное, так сказать, в более или менее учтивую форму? Какие могут быть последствия победы? Последствия эти суть: гибель противника, его уничтожение или, по малой мере, пристыжение. И как мы ни станем оправдываться и оговариваться, что могут быть победы более разумные, разумность эта будет влиять только на формы факта, а отнюдь не на его сущность. Как ни постараемся мы смягчить противнику его поражение, все-таки это

будет поражение, а не торжество, и ощущение, произведенное первым, всегда будет неприятно.

Справедливость этой мысли доказывается уже тем, что люди наиболее развитые всегда наименее склонны пользоваться плодами своих побед, а тем менее давать чувствовать их тяжесть своим противникам. Что руководит ими в этом случае? Очевидно, ими руководит, во-первых, то высокое чувство равноправности, которое не допускает самого представления о победе, а во-вторых, та мысль, что, поражая противника, они в то же время поражают самих себя, т. е. свою собственную теорию. И таким образом, если мы поставим себя на место тех людей мысли, о которых говорится выше, то увидим, что победа до известной степени недоступна для нас уже по тому одному, что мы сами не воспользуемся ею, что мы слишком совестливы, что она претит, наконец, самым коренным нашим нравственным убеждениям.

Но, кроме того, она сомнительна для людей мысли еще и потому, что они обставлены слишком невыгодно для того, чтоб надеяться на непосредственное торжество. Прежде всего, они малочисленны, потом разединены и, наконец, на каждом шагу своей деятельности встречаются с самодовольным упорством толпы, которая не хочет знать ни выводов, ни доказательств, а коснеет себе да коснеет в своей неподвижности. Возможно ли торжество при таких условиях? Ответ, кажется, несомнителен: да, торжество возможно, но торжество «историческое»...

Я опять-таки очень хорошо знаю, что некоторые «юродствующие» останутся на этом месте и, не говоря худого слова, обвиняют меня и в постепеновщине, и в стачке с действительностью, и в глумлении, и не весть еще в чем. Но погодите, юродивцы, погодите! Вы и не подозреваете, что всю эту речь я не к чему иному веду, как именно к мысли о необходимости победы, о настоятельности торжества.

Да, мы живем не в Аркадии и не в Икарии. Благодушие точно так же чуждо нашему обществу, как и чувство полной правомерности отношений. Мы имеем не только право, но и обязанность защищать себя против невежества и дикости, которые не дают нам дышать, ибо тут идет речь о нашей жизни и отстаивать ее повелевает нам простое чувство самосохранения. Если, при известных условиях, жизнь представляется в форме войны, то никто не изъеется от необходимости вести ее, а ежели бы кто и вздумал сам для себя сделать это изъятие, то будет вовлечен в войну помимо собственной воли непреодолимою силою обстоятельств. Подавляющее влияние среды слишком неотразимо, чтобы даже самый сильный человек мог вполне противостоять ему. Если жизненные убеждения этого человека совершенно отличны от тех, которые составляют ходячую монету между его современниками, если в этом отношении он не пригнется и не подчинится давящей силе большинства, то он подчинится ему в другом отношении: он примет его внешние жизненные обычаи, подчинится господствующим в этом большинстве привычкам. И тогда необходимость войны, необходимость победы и всех ее уродливых последствий будет для него ясна. Ибо никогда не следует забывать, что в среде ненормальной только то действие и может быть сочтено нормальным, которое соответствует окружающей его ненормальной обстановке.

Итак, речь идет совсем не о том, чтобы уклоняться и прятать свою мысль, а о том, чтобы сделать победу возможною. Для этого необходимо, во-первых, усвоить такой образ действия, который наиболее щадил бы нашу щекотливость относительно самого представления о необходимости войны, и во-вторых, уничтожить, по мере возможности, те препятствия, которые отовсюду представляются, с очевидною целью сделать торжество

нашей мысли мнимым. Задача, конечно, не легкая, но в то же время и не столь трудная, как это кажется с первого взгляда.

Прежде всего, здесь необходимо убедить себя в том, что всякое 'стремящееся провести себя в жизнь дело имеет к своим услугам двоякого рода деятелей: во-первых, инициаторов, по мысли которых оно возникло и ведется, и во-вторых, чернорабочих, которые суть ни больше, ни меньше, как строгие и точные исполнители чужих планов и намерений. Это различие весьма важно, и всякая небрежность в этом смысле может иметь неисчислимые и очень не полезного свойства последствия.

Если за инициаторами, этими людьми мысли по преимуществу, мы признаём право относиться к действительности с большим или меньшим нетерпением, если с их стороны не кажется странным то искание «исторических утешений», по поводу которых пишется настоящая статья, то никаких подобных прав не имеют и не могут иметь простые чернорабочие мысли. В этих последних всего более ценится их преданность, их, так сказать, материальное героизм. Они представляют собой те самые окопы, за которыми мысль может жить и развиваться, не будучи каждую минуту вынуждаема заботиться о своей защите. Вне этой роли чернорабочий приносит более вреда, чем пользы: во-первых, он наболтает, во-вторых, переврет, в-третьих, насмешит и в-четвертых, наделает галиматши. Горе чернорабочему самонадеянному, лезущему в герои! Он и сам погибнет и увлечет за собой хотя частицу того дела, которому служит! Будучи от природы ограниченным, он (смотря по тому, какой у него нрав, буйный или унылый) или без толку полезет напролом или без толку же будет хныкать. И ни в его храбрости, ни в его хныкании не будет ни малейшего следа той искры, которая горит во всяком слове и движении учителя, а будет все тот же характер ремесленности, который не покидает никогда чернорабочего, как бы он ни был развязен, как бы ни прикидывался героем. Посему, драгоценнейшие качества чернорабочего: стойкость при натиске, сознание необходимости организации, почтительность и послушливость. И если при этом с их стороны будет выказана самоотверженность, то это будет не та высокая и очень часто слишком тяжкая самоотверженность, которая свойственна людям мысли, а простое и естественное последствие тех обязанностей, на исполнение которых они себя обрекли. Быть может, эти слова мои покажутся обидными или горькими, быть может, они возбудят даже негодование, но не обиде идет здесь речь, а о том, чтобы сказать, наконец, ту правду, от непризнания которой гибнет все лучшее, а процветают человеческие волчцы.

Да, лучшее гибнет, лучшее исчезает, — в этом мы могли убедиться не со вчерашнего дня. Волчцы! подумали ли вы когда-нибудь, что за проклятая тайна присутствует в этом деле? поставили ли вы себе когда-нибудь искренно и обстоятельно вопрос: кто виноват? Были ли вы почтительны, были ли послушливы? Ибо ведь недостаточно обвинять только большинство, одно большинство — это-то мы и без вас знаем, что оно виновато, — а надлежит взглянуть во всю обстановку, которая окружила мысль и которая, быть может, и могла бы ее защитить, да не защитила...

Итак, пункт первый: во всяком деле необходимо отличать инициаторов и чернорабочих. Первые имеют право мыслить, вторые имеют право исполнять; первые имеют право искать утешений в истории и даже возбуждаться и укрепляться этими утешениями в борьбе с обстоятельствами, вторые должны как можно меньше думать о таких утешениях, а заботиться только о том, что у них непосредственно под руками. Такое различие несомненно помогает делу: оно устраивает его.

ОЦЕНА ИЗ «ГУБЕРНСКИХ
ОЧЕРКОВ»

— Какое нынче направление странное принимает литература — все какие-то нарывы описывают, и так, знаете, все это подробно, что при дамах даже и читать невозможно... потому что дамы — *vous s'occupez, mon cher!* это такой цветок, который ничего кроме запахов тонких испускать из себя не должен, и вдруг ему, этому нежному цветку, предлагают навозную кучу... согласитесь, что это неприятно...

Рисунок П. Анненского к «Губернским очеркам» из «Сына Отечества» 1857 г.



Затем, идет речь собственно о войне. Поставим себя на место людей мысли, и спросим: претит ли нам такое занятие? Ответ будет несомненный: претит. Мы люди мира и гармонии, мы, даже вызванные насильственно на борьбу, по возможности, умеряем силу наших ударов, дабы не скорбеть при виде того позорного зрелища унижения, которое бывает естественным последствием всякого решительного торжества. И мы имеем право на такую гадливость, ибо сознали нашу мысль во всей ее ясности, и эта мысль не только теоретически исключает представление о необходимости войны, но и все ее практические подробности так построены, что войны нет и не может быть. А между тем она есть; она не хочет знать наших теорий, а присутствует в том раздражающем и опьяняющем воздухе, которым мы дышим. Как поступить в этом случае, чтоб не впасть в прямое противоречие с самим собою, чтобы не оскорбить, не задеть за живое своих коренных убеждений? Ответ на это очень простой: мы не обязаны даже и думать об этом. У нас должна быть организация, должны быть чернорабочие, которых преданность доходит до того, что не дает нам даже случая впасть в противоречие с нашими дорогими убеждениями. Мы люди мысли, и самое лучшее, что можем сделать, — это не покидать сферы мысли. Эта мысль сделает то практическое дело, какого практичнее ничего нет на свете: она оплодотворит людей действия, она прольет огонь в их сердца, она сделает их почтительными, послушливыми и твердыми в бедствиях. Философу Ризположенскому она скажет: не раздирай ногтями своих собственных внутренностей, не вопи на самого себя, не лай на луну, но обрати свои ногти, свой вопль и лай на противников того дела, которому ты служишь. Публицисту Скорбященскому она скажет: не распространяй слухов о терпении и о вознаграждениях, имеющих последовать в будущей жизни, но будь дерзок, ибо только дерзостью получишь в сем мире желаемое. Наконец, псевдоестествоиспытателю Кроличкову она скажет: не прикидывайся естествоиспытателем, ибо ты воспитанник Кузьмы Пруткова, у которого и заимствовал свои сведения по части естествознания... ступай вон. И тогда образуется у нас нечто правильное. Ризположенский будет раздирать внутренности действительных противников его дела, а не свои

собственные (или, что всё равно, внутренности противников мнимых). Скорбященский будет словом и делом пропагандировать мысль о натиске, а Кроличков совсем уйдет вон.

И тогда мы, люди мысли (повторяю, я только ставлю себя на место этих людей, а отнюдь не претендую идентифицировать себя с ними), получим именно то желательное положение, которое одно только относительно нас и может быть названо правильным. А именно: мы получим возможность свободно и спокойно предаваться делу мысли, не будучи на каждом шагу вынуждаемы впадать в противоречия с нею, возможность не знать о тех препятствиях, которые встречает эта мысль в будничной обстановке жизни. Все эти мелкие подробности, вся горечь и неприятность, неразлучные с процессом проникновения мысли в практику, падут на долю тех преданных чернорабочих, которые не только не дадут нам чувствовать их, но даже скроют от нас об их существовании. Мысль наша не будет встречать задержек, и потому не пойдет, как говорится, в суп (как это нередко случается ныне), а разовьется во всей ее гармонической стройности. Быть может, даже... мы получим возможность находить утешения и не в одной истории...

Мне могут возразить, что я проповедую аристократию мысли, которая может впоследствии развиться столь же вредоносно, как и аристократия денег, аристократия силы и т. п. Но это возражение неверное. Во-первых, я говорю о положении временном, о положении, нужном лишь в данную минуту, в полном убеждении, что аристократия мысли, ежели она есть, менее всякой другой может окорениться и сделаться наследственной. Во-вторых, я вполне убежден, что по мере накопления знаний в массах, не только уровень этих знаний, но и уровень самых человеческих способностей должен представлять гораздо менее отклонений против тех, которые встречаются ныне, и следовательно, аристократия мысли будет иметь все менее и менее причин для существования. В-третьих, наконец, — и это главное — я говорю совсем не об аристократии, а об организации, и ежели слова могут возбуждать какие-либо недоразумения или опасения, то на это я могу отвечать одно: ежели вы желаете, то желайте, ежели же не желаете, то уйдите и не мешайте другим.

Всё мое намерение заключается в одном слове: дело. Самопожертвование, самоотвержение, геройство и проч. суть необходимые принадлежности человеческой деятельности, но отнюдь не должны быть целью ее, ибо, в противном случае, мы имели бы слишком легкий способ удовлетвориться и успокоиться. Я говорю одно: полезное и благотворное дело стоит в миллион раз дороже, нежели самая честная и безупречная деятельность человека, ибо делоечно, а деятельность человека переходит вместе с ним и познается только в той мере, в какой она отразилась на деле.

И еще могут меня обвинить в том, что пропагандируемая мною мысль слишком жестока, что, по смыслу ее, положение так называемых чернорабочих не только утрачивает всякую красоту, но просто-напросто делается невыносимым, и что едва ли даже возможна такая организация, в которой существовал бы целый многочисленный класс людей, всегда готовых жертвовать собой в пользу мысли, в которой даже не заинтересованы страстно их личности. На это я могу отвечать моим возражением: во-первых, что подобные организации существовали и существуют — это нам доказывает не только история, но и действительность: оглянитесь кругом, и уверьтесь, а во-вторых, опять то же, чем я ответил и на первое обвинение, а именно: если вы желаете, то желайте, если не желаете, то уйдите прочь и не мешайте другим.

Затем, мне остается сказать еще несколько слов о том, что именно и составляет главный предмет настоящей статьи, т. е. об устранении

тех препятствий, которые на каждом шагу встречает мысль со стороны дикости и невежества, или, говоря иными словами, о наилучших способах к успешному ведению войны.

Выше я сказал, что ежели нам и случается встретиться с преувеличенными мыслями, то в этом виновато исключительно большинство, раздражающее мысль постоянным преследованием и неприятием. Мысль положительно не может бороться с этим равнодушием, ибо ее дело давать тон, а не бороться. Но с другой стороны неприязненное отношение большинства к мысли объясняется тем глубоким невежеством, в которое оно погружено, и это обстоятельство ежели не оправдывает большинства вполне, то значительно смягчает его вину. Мысли, конечно, до этого дела нет, ибо она имеет право развиваться и независимо от подобных соображений, но тому делу, которое она проводит в жизнь, очень важно изменить такие отношения и добиться того, чтобы большинство сделалось более ручным и не смотрело на всякое проявление добра, как на что-то враждебное, тревожащее его спокойствие. Необходимо упростить мысль, сделать ее мирским достоянием, необходимо, чтоб она дошла до большинства в доступной ему форме, чтоб она завладела им незаметно для него самого и не оскорбляла его своею высотой и величию.

Вот эта-то цель и достигается через тех чернорабочих мысли, о которых говорено выше. Сила их заключается не только в том, что они составляют, так сказать, передовые укрепления мысли, что они защищают ее своими телами от натиска бесполезных элементов, но и в том, что они служат соединительною цепью между мыслью и большинством. Если мысль имеет право к известным явлениям жизни относиться с некоторою гадливостью, то этого права отнюдь не имеют чернорабочие мысли. Будучи по натуре своей ограниченны, они принадлежат большинству всецело и ежели выделили себя из него, если пришли к познанию иного сладчайшего вина, нежели то, которое предлагается ко всеобщему употреблению, то это произошло лишь благодаря особенно благоприятному стечению обстоятельств. Для чернорабочего непостыдно обращаться к большинству, да и нет никакого резона не говорить с большинством языком этого большинства. Он не должен только забывать, откуда он идет, он должен всегда чувствовать себя членом иного мира, посланным к большинству не для того, чтоб утонуть в нем, а для того, чтобы привести его к мысли.

Вот всё, что могу покаместь сказать об этом предмете, но думаю, что читатель будет достаточно благоразумен, чтоб увидеть в моих словах лишь то, что они действительно означают.



РИСУНОК А. РЫБНИКОВА К «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА», ГРАВИРОВАННЫЙ НА ДЕРЕВЕ И. ПАВЛОВЫМ, 1926 г.

3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЗРАКИ *

Письма издалика

Le globe est confié à l'humanité comme un domaine à la question duquel elle est préposée. C'est là sa destinée terrestre. Or, elle ne peut accomplir cette question pendant son enfance, car on conçoit bien qu'elle doit avoir conquis, pour être apte à pareille oeuvre, de la sève et de la force; il faut qu'elle se soit créée des instruments, des moyens, une puissance qui ne lui viennent qu'à la suite du développement des arts, des sciences et de l'industrie.

Victor Considérant. «Destinée sociale».**

I

Что миром управляют призраки — это не новость. Об этом давно уже знают там, на отдаленном Западе, где сила призраков сказалась массам с особенною настоятельностью, где много писали о призраках, где не только называли их по именам, но делали им подробную классификацию, предлагали даже средства освободиться от них. Мы, люди восточного мира, не можем последовать этому последнему примеру, во-первых, потому, что сами еще плохо знаем, какие собственно наши призраки, и какие чужие, а во-вторых, потому... ну, да просто потому, что не можем. Понятно, следовательно, что, приступая к такому деликатному сюжету, мы обязаны действовать с осторожностью и говорить больше обиянками. Добросовестный читатель оценит всю затруднительность такого положения.

Принято за провило: наше русское общество называть молодым. Коли хотите, оно и молодо и старо в одно и то же время; молодо и в том отношении, что не успело или не умело выработать из себя ничего самобытного, т. е. никаких своих собственных призраков; старо — в том отношении, что существует в силу установившихся и, как будто, окрепших форм жизни... в силу окрепших призраков, хотел я сказать, но кстати вспомнил, что обещался говорить обиянками. Мы до сих пор жили чужою жизнью — вот уж один достаточно обширный призрак, перед которым должны побледнеть все второстепенные. От этого выходит, что мы, так сказать, пошли в семена прежде, нежели созрели: собачка маленькая, а уж вся словно параличом разбитая, огурчик маленький, а уж весь сморщился. Это бывает иногда со школьниками, которые с десятилетнего возраста начинают курить трубку и тянуть ром. К двадцати пяти годам из такого мальчугана обыкновенно образуется молодец-мужчина: и лысинка на голове появится, и щечки одрябнут, и глазки затекут... С наружной стороны — чистейший продукт английской болезни, усовершенствованной достаточными приемами сулемы, с внутренней — все помыслы, вся складка, вся, так сказать, непромокаемость государственного человека! Ему бы еще поидеальничать, ему бы за девушками побегать, а он мечтает о месте начальника отделения, он

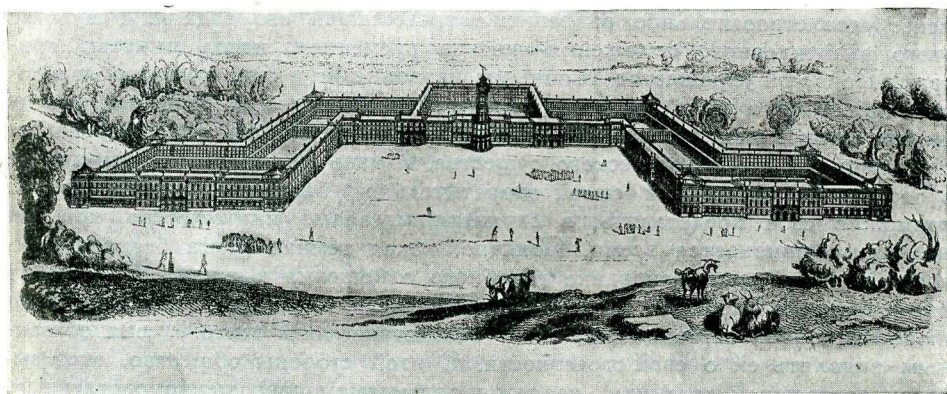
* Под этим именем автор предполагает издать целый ряд писем, которые и будут, от времени до времени, появляться в «Современнике». [Прим. Щедрин.]

** Земной шар вверен человечеству как владение, к которому оно приставлено. В этом его земное назначение. Но человечество не может выполнить его во время своего детства, ибо вполне понятно, что оно, чтобы быть способным к такому делу, должно приобрести крепость и силу: ему надо создать себе орудия, средства, могущество, которые могут прийти только путем развития искусств, наук и промышленности.

Виктор Консидеран. «Общественное назначение».

весь проникнут томными помыслами о том, как хорошо бы дорваться до места начальника акцизных сборов! Жизнь опрокинута вверх дном, подсечена в самом основании; клавиша, которая, для извлечения полного звука, должна бы ударяться об три струны, с самого начала ударяет об одну — что за звук, что за звук должен вылетать из этого разбитого, расхлябавшегося инструмента!

Впрочем, я должен раз навсегда оговориться, что, употребляя слово «общество», я разумею только так называемые верхушки его. Что делается внизу, какие призраки царствуют там, да и царствуют ли еще там какие-нибудь призраки, — я не знаю, да и вряд ли кому-нибудь это известно. Быть может, там даже вовсе нет призраков — это было бы не дурно, еслиб можно было удостоверить, что самое отсутствие призраков не составляет также своего рода огромного призрака, который современем разрастется



ИЗОБРАЖЕНИЕ ФАЛАНСТЕРА

Гравюра на меди по рисунку Виктора Консидерана из книги «Destinée sociale» par Victor Considérant, Paris, 1837

в мириады маленьких. Во всяком случае, предупреждаю, что я намерен говорить о бельэтаже, а не о подвалах.

Итак, начнем беседовать обняками.

Что такое призрак? Рассуждая теоретически, это такая форма жизни, которая силится заключить в себе нечто существенное, жизненное, трепещущее, а в действительности заключает лишь пустоту. Повидимому, даже слово «заключать» тут неуместно, ибо призрак ничего не проникает, ни с чем органически не соединяется, а только накрывает. Повидимому, это что-то внешнее, не имеющее никаких внутренних точек соприкосновения с обладаемым им предметом; это одеяло, случайно наброшенное, одеяло блестящее или изорванное в лохмотья, но которое во всякое время, без боли для предмета, под ним находящегося, можно сбросить и заменить другим. Но все это только «повидимому», все это только в отвлечении, в теории: на деле же призрак так глубоко врывается в жизнь, что освобождение от него составляет для общественного организма вопрос жизни или смерти и во всяком случае не обходится без сильного потрясения. Не надо забывать, что хотя призрак, по самой природе своей, представляет для жизни лишь механическое препятствие, но он имеет сзади себя целую историю, которая успела укоренить в обществе дурные привычки, которая успела сгруппировать около призрака всю жизнь общества и, сообразно с этим, устроила ее внешние и внутренние подробности. Следовательно, если самый призрак и можно признать за что-то внешнее, то никак нельзя подобным же образом отнести к тем привычкам, которые он порождает.

Владычество призраков непременно предполагает большую или меньшую степень общественного растления. Общество, как и всякий человек, отменно взятый, стремится к истине, т. е. к благосостоянию материальному и нравственному; окольные пути, которым оно при этом следует, уклонения и ошибки, в которые впадает, доказывают только то, что истина далеко, и что, для достижения общественного идеала, надо переплыть через много морей, перейти через много гор. С этой точки зрения, всякое человеческое общество представляет собой организм высоко-нравственный, одаренный похвальными и заслуживающими поощрения намерениями. Но с другой стороны, эта самая жажда истины невольно делается причиной не только целого ряда бедствий для общества, но и полнейшей нравственной порчи его. Стремясь к истине и не овладевая ею, кроме колеблющейся под ногами почвы, оно невольным образом бросается навстречу первой истине, которая попадается ему на пути и в которой он думает найти более или менее удовлетворительное разрешение тревожащей его задачи. Результат этого вынужденного положения—истина временная, идеал минуты, призрак. Призрак украшается пышными названиями чести, права, обязанности, приличия и надолго делается властелином судеб и действий человеческих, становится страшным пугалом между человеком и естественными стремлениями его человеческого существа. Жизнь целых поколений сгорает в бесследном отбывании самой отвратительной барщины, какую только возможно себе представить, в служении идеалам, ничтожество которых молчаливо признается всеми. Понятно, какая темная масса безнравственности должна лечь в основание подобного отношения к жизни. Оно может быть сравнено только с положением человека, который, ненавидя свою любовницу, боится, однакож, ее и вследствие того считает себя обязанным заявлять ей о своей страстности. С этой стороны общество, этот высоко-нравственный организм, является организмом совершенно растленным, погруженным, так сказать, в непрерывный разврат. Безнравственность является следствием нравственности—круг, из которого не выйдешь.

Виновато ли общество в том, что так легко подчиняется владычеству призраков? Властно ли оно выбирать между тою или другою истинною? Нет, не виновато и не властно. Истина надумывается сама собою, почва нарастает исторически; следовательно, винить и некого, и не в чем. Взятое в данный момент общество уже застает призрак вооруженным с головы до ног и защищенным всевозможными стенами, окопами и подъемными мостами. Что может оно, безоружное и слабое, против таких, совсем не двусмысленных, доказательств силы? Ведь этого еще не достаточно, что общество многочисленно, что оно само заключает в себе немалую силу, чтобы с успехом бороться против призрака. Не надо забывать, что сила общества есть сила неорганизованная, рассеянная, сила, так сказать, не сознающая самой себя, кроющаяся под спудом; не надо забывать, что общество, как бы ни явственно оно сознавало обветшалость и пустоту призрака, все-таки воспиталось под влиянием его и вследствие этого не может вполне освободиться от суеверного страха, который внушает имя его. Повторяю: призрак вооружен и укреплен, общество, вступающее в борьбу с ним, безоружно, слабо и подкуплено—обвиним ли мы его? Ответ, кажется, не может подлежать сомнению.

Но устраняя от общества современного (или взятого в известный исторический момент) всякую ответственность в подчинении себя призракам, мы не можем не выказать точно такой же снисходительности и относительно отцов и дедов, которые, быть может, самым существенным образом содействовали укоренению и укреплению этих призраков. И для того, чтобы достигнуть этого всеобщего оправдания, мы не имеем надобности даже призывая на помощь так называемую ограниченность человеческого ума, эту

приятную канву, по которой искатели неизвестного и безграничного так охотно вышивают оправдательные узоры свои. Тут всё дело просто заключается в том, что внешняя природа, отношения к которой, собственно, и составляют содержание человеческой жизни, представляет собой замкнутость, которая слишком скупно открывается человеку. Нормальные отношения к этой *belle inconnue** возможны только под условием полного и всестороннего ее познания, а так как, с одной стороны, это познание приобретается путем трудным и медленным, а с другой стороны, отношения к внешней природе, хоть какие бы то ни было, должны же существовать, то отсюда открывается не только возможность, но даже совершенная законность и необходимость тех бесконечных скитаний по призрачным мытарствам, в которых сгорают лучшие силы человечества.

Итак, не отцы и не сверстники наши виноваты в том, что призраки тяготеют над миром, а виноват в этом самый процесс наращивания и надумывания, который происходит медленно и болезненно. В то время, когда общество начинает уже о чем-то догадываться, что-то подозревать, старая истина все остается в той же суеверной неприкосновенности и предъясляет все те же права на общество, именно на том основании, что догадка и подозрение не составляют еще никакого существенного фонда для замены отживающей истины. Человек начинает ощущать потребность бога, а бог не открывается, а на месте его стоит все тот же безобразный кумир. Кумир этот исчерпал все свое содержание, он обессилен и не извлекает воды из гранита, а человек все еще простирается перед ним, все еще приносит ему жертву за жертвою. Какая горькая тайна присутствует в этой связи живущего с отжившим, в этом обоготворении мертвечины? Тот, кто даст себе труд вдуматься в то, что сказано выше об отношениях человека к природе, конечно, не усумнится ответить, что тут и тайны никакой нет.

Всякий призрак имеет свою долю истины, или, лучше сказать, всякий призрак есть истина, но истина, ограниченная в пространстве и во времени. Сверх того, всякий призрак есть протест против другого призрака, дряхлого и несоответствующего потребностям жизни. Сверх того, всякий призрак есть, вместе с тем, переходное звено от призрака прошлого и известного к призраку грядущему и неизвестному. Вот сколько внутренних нитей связывает человека с призраком, вот сколько прав имеет последний на жизнь обществ! История человечества, от самой колыбели его, идет через преемственный ряд призраков — вопрос в том, где оно освободится от них, и освободится ли? Это составляет темную, мучительно-трагическую сторону истории (впрочем, светлой-то и успокоительной покуда и не обретаюсь). Младенческое состояние точных наук, порождающее исключительное господство спекулятивных знаний и допускающее бесперывные новые открытия, которые ниспровергают все, над чем трудились, в чем не сомневались целые поколения, — все это такие преткновения, при существовании которых достижение идеала, т. е. счастья, представляется чем-то крайне сомнительным, если не окончательно невозможным. Если я не уверен, что мое сегодняшнее знание есть знание действительное, если я постоянно нахожусь под страхом, что то, что я сегодня признаю за благо, завтра, при помощи новых данных, долженствующих расширить горизонт моей мысли, перестанет быть таковым, то очевидно, что ясность моего существования должна быть возмущена, что я не могу иметь ни спокойствия в настоящем, ни уверенности в будущем. Поистине, можно даже подумать, [что] в самом принципе развития и совершенствования, которому неуклонно следует человечество, уже заключается условие величайшего для него несчастья, и, конечно, человечеству было бы невозможно существовать.

* Прекрасной незнакомке.

еслиб впереди не блистала ему мысль, что цикл колебаний когда-нибудь да кончится. Что это за мысль и в какой степени осуществима она? Не составляет ли она, в свою очередь, призрака, величайшего из всех призраков? Не похоже ли в этом случае человечество на чернорабочего, который все работает и все чего-то ждет, какой-то перемены в своем неотрадном положении. «Вот еще немного потерплю, вот вынесу еще несколько лишений», повторяет себе бедняга, «и потом буду счастлив!» — а на поверку оказывается, что и еще приходится терпеть, и еще нести лишения. Человечество инстинктивно думает ту же думу и охотно увлекается всякою новою истиной, всяким новым призраком. На первых порах живется легко; на первых порах истина удовлетворяет всех, хотя и действует обманом, т. е. торжествует на счет общего нравственного возбуждения. Но обман обнаруживается; болезненное дерево, давшее ему жизнь, начинает гнить, увлекая за собой и плод... Нужно опять и опять идти, опять и опять искать... Куда идти? чего искать? Каких держаться руководящих истин?

В особенности ощутительно дает себя чувствовать эта трагическая сторона жизни в те эпохи, в которые старые идеалы сваливаются с своих пьедесталов, а новые не нарождаются. Эти эпохи суть эпохи мучительных потрясений, эпохи столпотворения и страшной разногласицы. Никто ни во что не верит, а между тем общество продолжает жить, и живет в силу каких-то принципов, тех самых принципов, которым оно не верит. Наружно языческий мир распался, а языческое представление, а языческие призраки еще тяготеют всюю своею массою; Ваал упразднен, а ему ежедневно приносятся кровавые жертвы; явления, подобные Юлиам Цезарям, Александрам Македонским, утратили всякий жизненный смысл, а в пользу их еще и доднесь работает человечество. Изменились подробности, но смысла и господствующий тон трагедии остался прежний. Что может быть безотраднее, постылее, возмутительнее, даже пошлее такого положения?

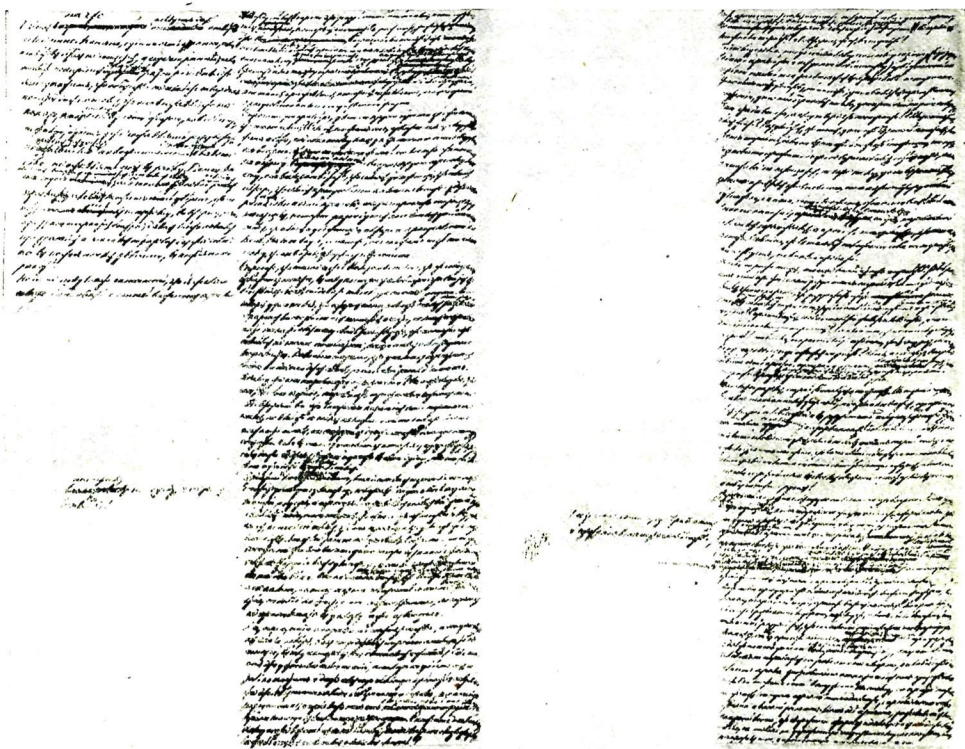
Читатель! случалось ли вам когда-нибудь ощущать, что возможность жить в друг как-то прекращается? Случалось ли вам спрашивать себя, отчего мысль и руки отбиваются от дела, отчего еще вчера казалось светло, а нынче уже царствует окрест мрак? Отчего люди, жившие доселе в добром согласии, внезапно и искренно приходят к убеждению, что нет никакого разумного повода не только для доброго согласия, но и для простого совместного жительства?

Но это бы еще ничего. Люди, по каким-либо причинам приходящие к сознанию, что им вместе нечего делать, могут разойтись каждый в свой угол и там откровенно позабыть друг о друге. Отчего же они не забывают и не расходятся? отчего, напротив того, они ищут друг друга, чтобы сильнее питать в себе чувство ненависти и озлобления? Ужели и впрямь чувство ненависти может когда-нибудь сделаться единственной путеводною нитью жизни? ужели его одного достаточно, чтобы наполнить ее содержанием?

Да; бывают такие черные дни в истории человечества, и, что тяжелее всего, они повторяются периодически. Жизнь общества утрачивает свой внутренний смысл и держится одним формализмом.

Авгуры последних времен римской империи не могли без смеха взирать друг на друга и между тем все-таки продолжали ремесло свое. Положим, что это были люди бесстыдные, внутренне убежденные в ничтожестве своих заклинаний и рассчитывавшие на невежество масс только ради личных выгод, да ведь и массы-то уже не верили в них, ведь и массы уже были достаточно прозорливы, чтобы оценить по достоинству безобразные кривляния распадающегося язычества: — для чего же они так упорно держались этих кривляний? для чего они с таким озлоблением преследовали новую истину, робко возникавшую рядом с истиной умирающей? Не потому ли, что массы одарены здравым смыслом, не потому ли, что они

инстинктивно понимают, что здесь не происходит ничего иного, кроме замены одного призрака другим, не потому ли, наконец, что они замучены жизнью и изверились в возможность ее? И между тем, несмотря на преследования, несмотря на отпор, новый призрак все-таки прокладывает себе дорогу, как вор подкапывается под основы старого призрака и, наконец, врывается-таки в самые святилища его. Общество торжествует и чувствует себя обновленным, но, вместе с тем, скоро, очень скоро после первых порывов нравственного возбуждения, с горьким изумлением замечает, что новые



ДВЕ СТРАНИЦЫ РУКОПИСИ СТАТЬИ ЩЕДРИНА «СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЗРАКИ», 1865 г.

Институт Русской Литературы, Ленинград

формы жизни, которых оно так жаждало и так жадно призывало, в сущности, составляют не более, как новый же призрак...

Недаром летописи подобных эпох полны сказаний о самоубийствах: это факт в высшей степени знаменательный. Всем тяжело жить, но вдвое тяжелее ярмо жизни для людей мыслящих и чувствующих. Грандиозность жизненного течения исчезает, явления мельчают, вера в прогресс уничтожается, глазам представляется заколдованный круг... Чему верить? Сердце так полно жажды счастья, но вместе с тем так оскорблено и озлоблено, что с глубокою ненавистью отворачивается от этой исполненной тления жизни. Остается идти к ничтожеству, верить в ничтожество. Смерть делается властительницей дум, ибо она одна что-нибудь разрешает в этом хаосе бессмысленных противоречий, ибо она одна что-нибудь содержит в этой пучине пустоты. Представление смерти является чем-то сладким, отраднo усыпляющим: человек вдумывается в явления жизни, вдумывается в смысл смерти и доходит почти до опьянения, до обоготворения ничто-

жества. Не узы, но освобождение от уз видит он в смерти, ибо для чего же и жизнь, если она ведет от одного противоречия к другому, от одного ничтожества к другому?

Из всего этого видно, что освободиться от призраков не легко, но напоминать миру, что он находится под владычеством призраков, что он ошибается, думая, что живет действительно, а не кажущееся жизнью, необходимо. Не в силу того, что он окончательно сбросит с себя ярмо их, что он изобретением новой и всеобщей панацеи заключит нескончаемый цикл алхимии и астрологии и обратится к более простым и естественным отношениям к природе, но в той уверенности, что старые призраки все-таки заменятся новыми, что, наконец, может настать и такое время, когда призрак и в общем сознании перестанет казаться идеалом. Но ведь общество будет через это выведено из области призраков? но ведь ему не будет от этого легче? Да, быть может, и не будет выведено (по крайней мере, в настоящую минуту, при настоящем положении наук, едва ли имеем мы право предвидеть что-либо похожее на возможность всеобщей гармонии), но легче ему все-таки будет; ему будет легче уже по тому одному, что оно перестанет относиться к призракам чародейственно, что оно поймет, что нет никакой необходимости трепетать там, где стоит только дунуть, чтобы разорить в прах целое здание. Ему будет легче уже потому, что всякий новый призрак все-таки приносит за собой большую против прежнего простоту и естественности отношений, а вместе с тем и некоторую частицу свободы. Это шаг не малый. Дикий вояк перестал верить в своего идола, но он еще боится его, но он еще обмазывает его медом и сметаной, чтоб умилизовать. Очевидно, он делает это потому, что у него нет в виду другого готового призрака; он сознает уже, что идол, который доселе кабалил всю его жизнь, глуп, мертв и вообще неудовлетворителен, но еще не понимает, что другой-то призрак, которого пришествие он смутно предчувствует, не идет потому только, что он, вояк, не вполне еще расквитался со своим старым, глупым идолом. Надо ему растолковать это и облегчить работу его освобождения; надо доказать ему, что освобождение необходимо должно сопровождаться оплеванием, обмазыванием дегтем и другими приличными минуте и умственному вояцкому уровню поруганиями, и что тогда только расчет с идеалом будет покончен, когда последний будет до такой степени посрамлен, что скверно взять его в руки, постыдно взглянуть на него.

Выше я сказал, что бывают минуты в истории, когда общество живет одним чувством ненависти,—это картина, конечно, очень печальная. Но скажите на милость, можно ли не ненавидеть, можно ли не сгорать от негодования, когда жизнь путается в формах, утративших всякий смысл, когда есть сознание нелепости этих форм и когда, тем не менее, горькая необходимость заставляет подчиниться им, бог знает—из-за чего, бог знает—зачем? Ведь отсутствие раздоров тогда только понятно и возможно, когда жизнь катится и не дает себя чувствовать, а не тогда, когда она на каждом шагу подкашивает человека. Возьмем для примера хоть бы наших помещиков. Было, конечно, время, когда они не только могли, но и должны были жить между собой в согласии, ибо их связывала одинаковая безмятежность взгляда на жизнь. В те счастливые времена не было ни глупых, ни умных, ни злых, ни добрых: просто было генерическое понятие помещика, под которым подразумевалось и очень много и очень мало. «Это—помещик», говорили россияне, и понимали друг друга. Такого рода порядок вещей, конечно, должен был менее всего давать место раздорам, но и тут, однакож, случалось, что самые задушевные приятели внезапно свирепели. Тем менее, может существовать согласие в такую пору, когда безмятежие взгляда покончилось, когда всякий чувствует себя предоставлен-

ным своим собственным средствам. Тут прежде всего начинают различаться добрые и злые, умные и глупые; так называемые добрые и умные кланят глупых и злых, говоря, что последние мешают приступить к делу и что их пошлое упорство порождает в обществе междоусобие; так называемые глупые и злые проклинают умных и добрых, говоря, что существующий сумбур есть результат неумеренной их болтовни и ненужного сованья не в свои дела. Кто рассудит эту странную прю? кто поймет ее? Никто не рассудит и не поймет, ибо, как ни суди, как ни ставь на очные ставки враждующие стороны, ни одна из них не уступит ни на волос.

Г. Тургенев был прав, изображая в «Отцах и детях» скрытный антагонизм, существующий между двумя половинами русского общества, но в качестве наблюдателя он был неправ, симпатизируя одной стороне и указывая на пороки другой. Здесь место не для симпатий, а для простого наблюдения: берите факт, как он есть, и если вы почему-либо не уразумеваете его законностей, то изображайте его, не рассуждая. И еще неправ г. Тургенев, заставляя своего героя погибнуть жертвою случайности: такого рода люди погибают совсем иным образом. Конечно, случайность и в их существовании играет большую роль, но это — случайность не слепая, посредством которой разрешил свой роман г. Тургенев, а продукт целого случайного порядка вещей.

Может показаться несколько парадоксальным, тем не менее совершенно верно, что распри, подобные замеченным выше, кончаются лишь взаимным истреблением враждующих сторон. В сущности, что представляют собой и та, и другая стороны? Они представляют один и тот же принцип, только в одном лагере он является несколько смягченным, в другом — в своих первоначальных грубых формах. Кто кого хуже? Кто кого лучше? Одни (добрые и умные) хотят подновить старый призрак, подрумянить помертвевший его образ и расправить морщины. Результат их работы — наивное самообольщение; двигатель — русское авось. Они не понимают, или не хотят понимать, что всякий призрак держит за собой целую систему, и что тут невозможно дотрогнуться ни до единой подробности без того, чтобы не подрыть всего общественного здания. Другие (глупые и злые) видят в старом призраке совершенство, не терпящее нахального прикосновения непосвященных, и, действуя логически, отстаивают его и в целом, и в подробностях. Следовательно, и в том, и в другом случае закваска убеждений одинакова, разница только в мелочах; это просто дело деревенских кумушек, повздоривших между собою из-за того, где больше денег: в пятикопеечнике, или в семитке с трешником?

Откуда же этот глубокий антагонизм между людьми, повидимому, столь близкими? Причина его заключается именно в этой близости. Чем ближе люди друг к другу, чем яснее они сознают, какие бы они могли быть отличные малые, еслиб плутовали заодно, тем большая сумма взаимной ненависти накапливается в их сердцах. Нет вражды более сильной, как та, которая закипает между членами одной и той же семьи; здесь всё ее питает: и непрерывное наблюдение за малейшими подробностями жизни, и наушничество, и сплетни. Раскольник без омерзения станет пить из одного сосуда с язычником и магометанином, но ни за что на свете не разделит трапезы церковника; «язычник, говорит он, не зная, Христа предал, а церковник предал его со знанием»...

Таковы признаки эпох разложения: с одной стороны, всеобщее глубокое междоусобие, имеющее чисто внешние причины, с другой — всеобщее безверие, но безверие робкое, скрывающееся под личиной самого рабского лицемерия. Что такое долг? что такое честь? что такое преступление? что семья? что собственность? что гражданский союз? что государство? Вот вопросы, которые задает себе современный человек: он бледнеет и трусит.

уже от одного того, что вопросы эти представляются ему; он готов сказать: «нет, я не был при этом, нет, я ничего не видал и не слышал» всякому, кто был бы настолько любознателен, чтобы спросить, каковы его мысли насчет того или другого вопроса. Это тоже весьма характеристический признак, который, вместе с междоусобием и безверием очень ярко обрисовывает эпоху разложения. Между тем, вопросы эти разрешить необходимо, потому что на тех понятиях, которые они выражают, зиждется целое общество. Сохранили ли эти понятия тот строгий смысл, ту святость, которые придавало им человечество в то время, когда они слагались? Если не сохранили, то представляется ли возможность возвратить им утраченное? Вот на что следует дать ответ немедленно. Конечно, будет очень странно, если ответа этого не сыщется, и еще страннее, если показания окажутся разноречивые: конечно, это ясно укажет, что общество не имеет твердых понятий даже о том, что оно выставляет на показ как главную основу своей жизни, но ведь и это, пожалуй, будет еще составлять результат, и притом результат весьма положительный.

Главное дело — не оставлять себя в заблуждении. Выгода тут двоякая: во-первых, соблюдается экономия сил (ибо только вполне обладая предметом, человек приобретает уверенность, что не истратит себя попустому); во-вторых, самые призраки стираются быстрее, давая место новым призракам, и, таким образом, держа человечество в постоянном увлечении, в постоянной работе.

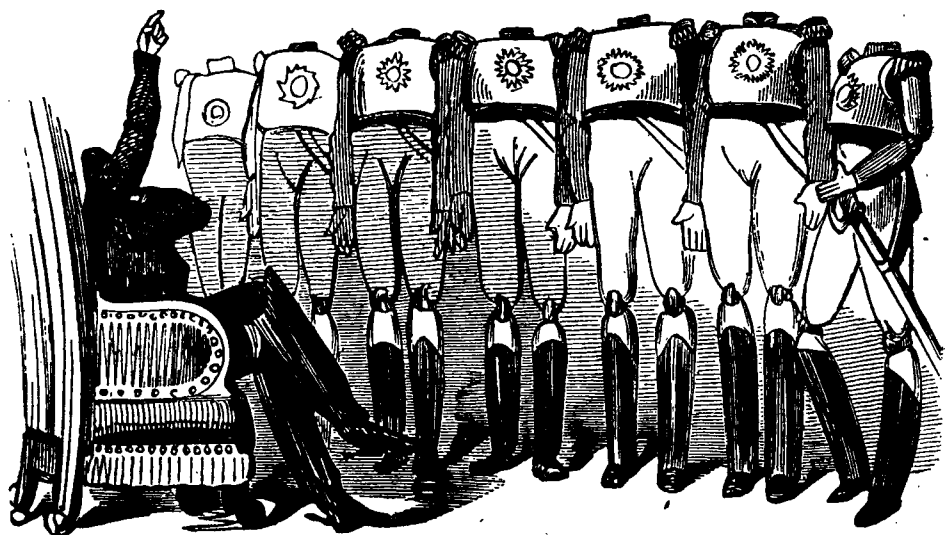
Но да не подумает читатель, что я имсю претензию беседовать с ним о столь важных предметах. Мое дело — призраки, а не такие представления, которые составляют, так сказать, краеугольный камень общественного благосостояния.

Спросите, например, у любого обывателя из простодушных, что такое семья? Семья, скажет он, известно — семья: муж, жена и дети; точь в точь, как у г. Успенского некоторый мужик, на вопрос: для чего тебе дана жена? отвечает: жена дана на потребу. Сделайте подобный же вопрос легисту, он вам ответит, что семья есть убежище, что семья — алтарь, что семья — краеугольный камень. Легист будет говорить очень долго и очень красиво; он растрогает до глубины души добрых обывателей, которые разойдутся по домам, утешенные тем, что семья есть алтарь, что алтарь есть убежище, а убежище есть краеугольный камень. На мой вкус, однакож, легист высказал нечто подобное тому же, что сказал и мужик г. Успенского.

Спросите, что такое честь? Вам ответят, что это — совокупность известного рода понятий (правил), в силу которых человек обязывается в действиях своих следовать именно такому, а не иному пути. Но не говоря уже о том, что история указывает нам на самые разнообразные видоизменения понятия о чести, самая современность на каждом шагу свидетельствует, что понятие это совсем не столь абсолютно, как о том повествует моралист. Довольно сказать, что у самых бесчестных людей всегда найдется в запасе свой *point d'honneur**. Почему же они называются и слышат бесчестными? Не потому ли, что они, в свою очередь, называют бесчестными честных людей?

Повторяю: все это может казаться очень парадоксальным, но вместе с тем положительно доказывает шаткость основ, на которых, в данную минуту, держится общество. Но если в таких существенных понятиях царствует рознь, если даже в этом всякий играет в свою дудку, то чего же можно ожидать во всем остальном, т. е. в подробностях, которые из этих основ истекают? Некоторый мой приятель, выкладывая передо мной пяти-

* Своя «честь».



НИКОЛАЙ I И ЕГО ГВАРДИЯ

Карикатура из альбома Густава Доре «La Sainte Russie», Paris, 1854

десятирублевую бумажку, говорил: «тут все! тут и манже, и буар, и сортир!» но и за всем тем, т. е. при всем горьком сознании безвыходности своего положения, он все-таки прибавлял: «да, надо, надо поправить свои обстоятельства!» Разумеется, кончилось тем, что он бумажку промотал, а обстоятельств своих не поправил. Современное общество похоже на этого моего приятеля: у него тоже осталась в запасе одна пятидесятирублевая бумажка, а оно мечтает прожить на нее два века. Оно не догадывается, или, лучше сказать, не хочет догадываться, что все эти краугольные камни, о которых оно разглагольствует с такою гордою уверенностью, не более, как истертые пятиалтынные, которых не примут в уплату даже извозчики.

Да, надо, надо поправить свои обстоятельства, а поправить их нельзя иначе, как посредством строгого анализа тех понятий, в силу которых мы двигаемся и живем. Бояться здесь нечего; если понятия эти устойчивы сами по себе, анализ не убьет их, а только очистит и даст им еще большую крепость и силу; если же некоторые из них — болезненные плоды болезненного дерева, то анализ добьет их окончательно и избавит нас от смешной роли Дон-Кихотов, принимающих мельницы за рыцарей. Ибо кому же охота возиться с тлением, когда впереди представляется возможность лучшей, здоровой жизни?

Часто приходится нам слышать: потерпите, и все будет хорошо, но ведь недаром же выискиваются и такие, которые говорят: чем скорее, тем лучше. Во-первых, возможно ли терпеть, и во-вторых, стоит ли терпеть?

Всякому сколько-нибудь бывалому сельскому хозяину (буду приводить примеры, доступные большинству) известно, сколько горькой насмешки заключается в этом слове: «потерпите». У него нет инструментов, нет скота, у него валяются хозяйственные постройки, у него хлеб градом побило, у него рабочий народ разглагольствует «мы-ста» да «вы-ста», а ему твердят: потерпите! Чем подняться? Чем жить? Где ручательство, что из ничего создастся когда-нибудь что-нибудь? Разумеется, что тот, у кого есть в запасе капитал, может терпеть, если не в надежде пожать сторицею, то хотя в уповании прожить с грехом пополам до тех пор, пока капиталы не истощатся, но горе тому, у кого оказывается в запасе одна пятидесятируб-

левая бумажка, да и то, быть может, фальшивая. Весь основной его капитал исчезнет в прожорливой бездне, называемой сельским хозяйством, и исчезнет так, что он и не ахнет. Очевидно, что в таком положении дела не терпеть приличествует, но ликвидировать.

Но если терпеть нельзя, то еще менее стоит терпеть. Здесь расчет простой: какой результат терпения? Кто будет так смел, чтоб удостовериться, что результат не заключается единственно в самом терпении, что здесь последнее не служит в одно и то же время и средством и целью? Спрашивается, сколько тысячелетий живет человечество и чего оно добилося с помощью терпения! Добилось того, что ему и дондесь говорят: терпи! Но не добилося ли, по крайней мере, хоть того, чтоб ему разрешили [вопрос], когда конец этому терпению? Нет, и на это очень простой ответ: потерпи, и узнаешь, как долго остается еще терпеть! Просто можно подумать, что жизнь есть непрерывный и безвыходный каламбур.

Таким образом, совет терпеть оказывается даже несколько обидным. В терпении, как давно некованном жорнове, не измалывается, но измывается жизнь человечества, и в результате получается все та же жизнь, только искаленная и изорванная. Сколько великих дел мог бы явить человеческий ум, еслиб не был скован, более, нежели странною, надеждой, что все на свете сделается само собою? Скольких великих явлений могла бы быть свидетельницей история, еслиб она не была сдерживаема в своем движении нахальством одних и наивною доверчивостью других?

История сама берет на себя труд отвечать на эти вопросы. Когда цикл явлений истощается, когда содержание жизни беднеет, история гневно протестует против всех увещаний. Подобно горячей лаве проходит она по рядам измелывавшего, изверившегося и исстрадавшегося человечества, захлестывая на пути своем и правого, и виноватого. И люди, и призраки поглощаются мгновенно, оставляя вместо себя голое поле. Это голое поле предоставляет истории прекрасный случай проложить для себя новое и при том более удобное ложе.

Можно ли предупредить подобные гневные движения истории, можно ли, по крайней мере, подготовиться к ним? Вопросы эти разрешить мудро, потому что, еслиб было можно, то, само собой разумеется, не было бы недостатка ни в предупреждениях, ни в приготовлениях. Но, во всяком случае, предупреждать и должно, и совершенно естественно. Подобно тому, как отдельный человек не называется добровольно на смерть, и человечество, застигнутое врасплох в данную минуту, не имеет права отказаться от существования. Оно может быть вынуждено к тому, но, покуда наступит минута горькой необходимости, борьба с нею и естественна, и вполне законна. Вот, где причина, заставившая меня сказать выше, что добровольное и полюбовное свержение старых идолов с их пьедесталов — дело, не только не угрожающее обществу, но, напротив того, упреждающее его будущее.

Эта же самая причина заставила меня взяться за перо. Говорю откровенно, читатель нередко будет иметь случай сетовать на меня; ибо нередко я буду беседовать не с тою ясностью, с какою желал бы, и какая, в сущности, необходима в таком деле. Я знаю это, но вместе с тем знаю и то, что имею дело с явлениями и вещами, прикосновение к которым требует величайшей осмотрительности. Тут идет речь совсем не об трусости, но именно о желании достичь какого-нибудь результата. Что путного будет, если я стану называть вещи по именам? спрашиваю я себя, и, взвесив все доводы pro и contra прихожу к заключению, что и выгоднее, и плодотворнее действовать без излишней запальчивости.

В минуты всеобщего переполоха и эпидемической нравственной перепутанности общество выказывает особенную щекотливость. Потому ли, что

оно и без того чувствует себя кругом виноватым, или потому, что организм его уже слишком покрыт язвами, — как бы то ни было, но оно положительно не допускает, чтобы в эти язвы, и без того растравленные, запустили любознательный скальпель. «Я знаю, что гнию», говорит оно с каким-то дико-горделивым самодовольством — ну, и гниет себе понемножку.

В виду такой чувствительности возможно ли оставаться жестоким?

II

Оканчивая первое письмо мое, я намеревался прямо приступить к тому, что мы называем обыденною, будничною жизнью. Однако, пересчитав написанное мною, я почувствовал, что там есть много недосказанного, что взгляд на принципы, которыми руководится жизнь человечества, недостаточно выяснен, что, наконец, могут обвинить этот взгляд в бессмысленности, в какой-то сухой безотрадности, в том, наконец, что очень образно формулируется словом «озорничанье».

Что касается до этого последнего обвинения, то я не желаю и не ищущу в нем оправдываться. Безотраден или отраден сформулированный мною взгляд, до этого мне нет дела; желательно было бы только, чтобы он был правилен. Я знаю, что многие скорее согласны были бы остаться при мечтаниях, лишь бы они были отрадны, нежели принять истину, которая кажется им мало отрадною, что многих эти «отрадные» мечтания до такой степени сладко убаюкали и разнежили, что было бы даже странно, еслиб простое и несколько грубое прикосновение к тому, что составляет, так сказать, и содержание, и надежды, и идеал целой жизни, не возбуждало ропота. Я знаю даже таких, которые, очень трезво смотря на современность, оказываются несколько в подпитии, когда им приходится поднимать завесу будущего... Все эти мечтатели, все эти идеалисты как настоящего, так и будущего, конечно, могут сказать, что гадко и неблагоприятно возводить в принцип, что человечество не в силах выйти из-под владычества призраков, что это, наконец, и не верно, потому что... ну, да и просто потому, что оно выйдет из-под этого владычества (нельзя, дескать, предположить себе и т. д.). На этот мотив можно целую книжку написать, особенно если взять в образец так называемую литературу великодушных порываний (*aspirations généreuses*), которая преимущественно пользуется кредитом во Франции, где, однакож, таковым кредитом пользуются и так называемые *idées napoléoniennes* *. Французы целые томы пишут о чем-то вроде *fraternité* **, но практические результаты этого многописания оказываются довольно обидные...

Но возвращаясь к недоразумениям, которые может возбудить мое первое письмо. Во-первых, я не знаю, что может быть неблагоприятного в том или другом образе мыслей? Что образ мысли может быть серьезный или смешной, основательный или нелепый — это я понимаю, но чтобы он мог быть неблагоприятным (т. е. несвоевременным) — это совершенно недоступно моему пониманию. Я мыслю так, а не иначе, следовательно, я имею право так мыслить. А так как при этом я, до поры до времени, не признаю возможности истины абсолютной, то, стало быть, и своего образа мысли не признаю за непреложный, стало быть, рядом с ним признаю возможность другого образа мыслей... Что может быть терпимее?

Во-вторых, я не знаю, благоприятно или неблагоприятно я поступаю, проводя мысль о скитаниях из одного призрака в другой, но знаю, что от этого моего неблагоприятия никакой для дела порухи не произойдет. Человечество, хотя бы оно и не было насчет этого вполне согласно со

* Наполеоновские идеи.

** Братство.

мной в отвлечении, все-таки не придет от того в отчаяние и не сложит руки (незачем, дескать, и работать, коли работать приходится в пользу одних призраков), а будет следовать все той же дорогой, которой ему итти надлежит. В этом отношении над ним тяготеет фатализм, который, однакож, совсем не есть фатализм в том смысле, как мы это слово понимаем, а просто — подчинение тем законам, которые лежат в основании человеческой природы. Следовательно, каковы бы ни были теории, они не могут ни повредить, ни пользу оказать, ни прибавить, ни убавить в этом естественном и независимом от самого человечества ходе вещей. А следовательно и говорить о том нечего, что благоразумно и что неблагоразумно, что вредно и что не вредно: тут просто на первом плане стоит неперменная потребность мысли высказаться до конца.

В-третьих, наконец, допустим, что предположение мое неверно, но вместе с этим едва ли не придется и еще кое-что допустить. Это «еще кое-что» заключается в том, что, если человеческие скитания прекратятся, то, стало быть, и отношения человека к внешней природе сделаются когда-нибудь нормальными. Нормальными же они могут сделаться только тогда, когда природа откроет человеку, так сказать, всю грудь свою, когда в ней не останется ни единой тайны (прошу не смешивать тайны с секретом!), ничего недостигнутого (не смешивайте с недостижимым!), ничего необъясненного (не смешивайте с необъяснимым!). Но это положительно невозможно. Недаром природу называют неистощимою и бесконечно разнообразною; она до такой степени неистощима, что человек в данную минуту не может даже знать, каковы будут его требования относительно природы через известный период времени. И всегда оказывается, что требования эти совсем не неуместны, и никогда не бывает того, чтобы природа была не в силах отвечать новым требованиям. Всякое новое открытие заключает в зерне своем новую тайну; впоследствии тайна эта обнаруживается или в виде нового закона, или в виде новой комбинации законов уже исследованных, но и это новое обнаружение повлечет за собой целый ряд новых тайн. Чтобы представить себе природу истощившуюся и разоблаченную до наготы, надобно предположить, что она когда-нибудь перестанет творить, а это положительно противоречит всем открытиям, делаемым в области естественных наук. Открытия эти доказывают, что не только беспрерывно являются новые роды и виды творения, но что и самые законы творения или, лучше сказать, взгляды человечества на эти законы беспрерывно изменяются. Стало быть, возможность нормальных отношений человека к природе есть дело во всяком случае проблематическое; по крайней мере, если человеческие скитания поставлены в зависимость от этих отношений, то нельзя не сказать, что будущее их обеспечено слишком достаточно.

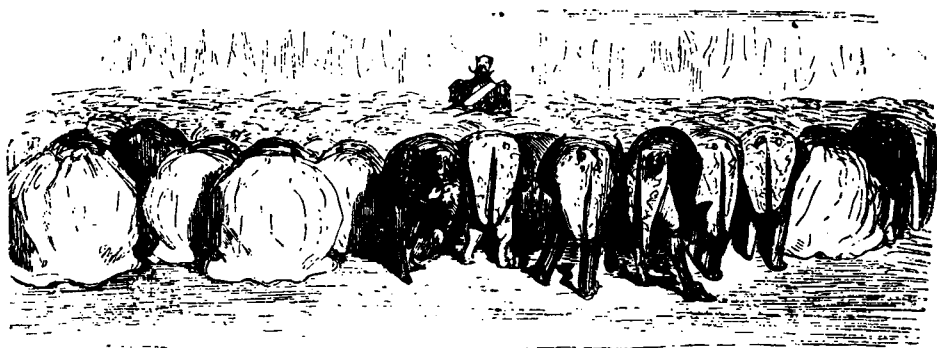
В-четвертых, если бы можно себе представить природу исследованную, истощившуюся и лишенную своей творческой силы, я не понимаю, что же тут будет утешительного? Желать чего-либо подобного, указывать на такое положение вещей, как на цель человеческих стремлений, не значит ли предугадывать на что-то вроде светопреставления? Что тут лестного? Между тревожною жизнью и спокойною смертью — куда склонится выбор наш? Даже старосветские помещики Гоголя, которые именно почти так жили, как должны жить добрые после светопреставления, даже и те только почти так жили. И у них случались иногда желудочные боли, и у них рождалось по временам желание сию минуту съесть какой-нибудь особенно вкусный блин, который можно приготовить только через полчаса. Если бы у них не было этих болей и желаний, они, очевидно, не могли бы существовать иначе, как в спячем виде.

Теперь постараюсь разъяснить и дополнить мой взгляд на призраки, к которым и возвращаюсь.

Вероятно, большинству моих читателей случалось бывать в балете. Что берется в основание балета, что составляет, собственно, интерес его? В основание балета берется что-либо произвольное и неизвестное, которое предлагается как непроизвольное и окончательно признанное, что-либо чудодейственное и неестественное, которое принимается за нечто обыкновенное, вытекающее из природы вещей. Отправляясь из этого пункта и не выжидая возражения со стороны зрителя, балетмейстер устраивает дальнейшее течение своего произведения с легкостью изумительной. Все ему удается, все он объяснить может. Возьмем, например, что героем балета избран Дух Долины («Теолинда, или Дух Долины», балет в трех действиях, сочинение г. Сен-Леона). Что это за дух? откуда он явился? какими путями прокрался он в голову балетмейстера? Этого никто не знает, да и сам балетмейстер, вероятно, знает не больше других. Он собственной своею властью вызвал этого духа из тьмы, собственной властью наделил его силою и могуществом, наградил способностью вступаться в людские дела, ограждать слабых и невинных и карать коварных и злых, привязал ему сзади золотые крылышки и выпустил на сцену. И вот, происходит нечто необычайное: дух, неизвестно откуда явившийся, дух, не имеющий ни роду, ни племени, дух, взявший на прокат из театральной гардеробной золотые крылышки, является решителем человеческих судеб.

Он танцует и благодетельствует, он повертывается на одной ножке и в то же время карает злодейство и несчастье. Почему палка, направленная на Теолинду, вываливается из рук коварного Шторфа? А потому, что Теолинде покровительствует Дух Долины, который и вырывает упомянутую выше палку. Каким образом может случиться, что Теолинда, увлеченная Духом Долины на дно озера, не только не захлебывается и не утопает, но, напротив того, танцует там? А просто от того, что так хочет Дух Долины. И дешево, и просто, и мило.

Благодаря призракам, нечто подобное происходит и в мире человеческих отношений. Неизвестное и недоказанное принимается за известное и доказанное, и на основании этого делаются выводы, строится целая система доказательств, допускаются остроумные сближения, одним словом, оценивается целое человеческое существование, объясняются самые сложные явления. Что, если бы кто на вопрос: почему вы поступили так, а не иначе? ответил: так велел мне поступить Дух Долины! Нет сомнения, что челове-



ПРИДВОРНЫЙ ВАЛ НИКОЛАЯ I

«Обстоятельство, наглядно подтверждающее распространенное мнение, что император Николай самый красивый и самый высокий человек в России»

Карикатура из альбома Густава Доре «La Sainte Russie», Paris, 1854

ка, давшего такой ответ, признали бы за сумасшедшего, а может быть, и еще хуже — за злонамеренного свистуна. Однако, никто не удивился бы и не счел бы за сумасшедшего того грека, который отвечал бы, что он такое-то действие предпринял под влиянием богини Минервы, а такое-то под влиянием самого Юпитера.

Покуда участие Духа Долины, как решителя балетной жизни и балетных судеб, ограничивается одним балетом, оно может быть терпимо. Хотя и там оно глупо, хотя и балету не мешало бы поискать себе содержания, жизни, хотя сколько-нибудь не противоречащей здоровому смыслу, однако зритель не может изъяслять большой претензии на столь невинное препровождение времени. «Ну, чорт с вами! говорит он, уходя из театра, хорошо, хоть ноги-то поднимать не скупилась!» Но когда Дух Долины начинает вмешиваться в жизнь действительную, когда он заявляет претензию на обладание судьбами вселенной — такое нахальство делается просто нестерпимым. Большинство людей, конечно, не сознает, что те краеугольные камни, те основания, те убежища, которые оно так самодовольно выставляет на показ, в сущности ничем не отличаются от Духа Долины, а между тем оно так. Пускай философы-идеалисты сойдут в тайники сердец своих, пускай философы-юристы проверят те начала, на защиту которых они ополчаются, и пусть те и другие сходят в первый балет, какой будет даваться на сцене. Они увидят, они с краской стыда на лице почувствуют, что целую жизнь свою посвятили не чему иному, а именно только сочинению балетов. Ничто так не подрывает известного принципа, ничто так не выказывает всей его ложности, как логическое доведение этого принципа до всех тех последствий, какие он может из себя выделить. В этом отношении школа так называемых спиритуалистов оказала услугу незабвенную и неоценимую. Они указали, что путем идеализма можно дойти до самых крайних нелепостей, а всего скорее дойдешь до балета. В самом деле, чего тут нет: и легкие духи, и совершенные духи, и стучащие духи... и весь этот кагал вмешивается в судьбы человека, руководит человеком, точь в точь, как руководит им, например, понятие о вменяемости преступлений, или о вреде страстей...

И таким образом, оцепленные со всех сторон путами, мы безрассудно тратим свои силы не на разрешение, а на большее и большее закрепление их. Мы до такой степени утрачиваем все инстинкты здоровой, не запутанной жизни, что эта последняя кажется нам смешною, пошлою, почти что дикою. Например, по нашим понятиям, отношения мужчины к женщине, хотя бы в основании их лежали чувства взаимного уважения и любви (единственные, которых присутствие в этом случае совершенно необходимо), все-таки не могут считаться в строгом смысле законными и нравственными, если на них не имеется печати принуждения и обрядности. Покажите нам эти отношения в других формах, представьте их естественными, основанными именно на одном чувстве взаимного притяжения, — мы сейчас сострим; мы скажем, что подобный взгляд сообщает отношениям исключительно половой характер, мы выложим зараз весь разнообразный запас наших знаний по части клубнички, мы напомним насчет собачьей свадьбы. И напрасно вы будете говорить нам, что понятие о взаимном притяжении вовсе не исчерпывается одними половыми побуждениями, что оно обнимает собой все разнообразные определения сложного человеческого организма, что оно потому уже нравственно, что человечно, — мы вас и слушать не станем и всё будем твердить одно: что вы — пропагандист собачьих нравов. И мы даже не замечаем, что подобное остроумие, основанное на сопоставлении явлений совершенно различных сфер, доказывает, помимо нашей воли, только нашу собственную умственную оголтелость, доказывает, что мы ни во что ценим нравственную сущность и придаем вес

одному нравственному формализму. Приведенный мною пример касается вопроса, несколько уже выясненного, или, по крайней мере, затронутого общественным мнением, и потому он, пожалуй, и не бросится еще так резко в глаза, а сколько есть таких вопросов, в основе которых все сумбур, все бессмыслица, все мрак, и к которым невозможно даже прикоснуться именно потому, что там сумбур, бессмыслица и мрак представляются чем-то нормальным, неприступным и заповедным? Сколько есть таких явлений, к которым подойти нельзя, в справедливости которых невозможно сомнения заявить именно потому только, что самое поименование их без особенно восторженных эпитетов, самое намерение объяснить их считается уже преступлением и возбуждает остервенение в людях, в сущности весьма невинных и безответных.

Это-то и вынудило меня сказать в первом письме, что с призраками подобного рода надо обращаться с осторожностью. Осторожность эта, по моему мнению, должна заключаться в следующем. Если известному жизненному строю, к которому мы привыкли, с которым мы сжились (потому что мы сами—более или менее—его участники и делатели), будут противопоставлять, в живых образах, другой жизненный строй, совершенно непохожий на первый, то как бы ни удостоверять нас рассудок, что этот другой жизненный строй есть единственно-справедливый и вытекающий из свойств человеческой природы, мы все-таки не в состоянии будем побороть в себе некоторого чувства недоверия, которое окажется тем сильнее, чем резче и образнее будут формулированы подробности новой жизни. Повидимому, это неосновательно; повидимому, способность идеи к организации, к воплощению в живых образах должна бы привлечь к ней еще более прозелитов; однако, на практике бывает наоборот. Мы так мало готовы к принятию новых форм жизни, и промежуток между современною, уже изведанною нами практикою и тою, которую имеет выработать будущее, так велик, что эта последняя не может не перевернуть вверх дном всех наших понятий. То, что мы охотно постигаем в отвлечении и что, как теоретическую возможность, признаем безусловно, то самое, внезапно представившееся нам в живых образах, кажется неловким, режущим глаза. Мысль о возможности такой ассоциации, где труд не представлялся бы тяжким бременем, а напротив того, в самом себе, в своей собственной привлекательности, находил бы причину и цель, теоретически не заключает в себе ничего дикого, но попробуйте изобразить такую ассоциацию в живых и действующих образах, попытка эта не только не принесет пользы мысли, ее породившей, но едва ли даже не повредит ей. Образы, логически верные, покажутся приторными, идилическими, почти пошлыми; отношения естественные и совершенно нравственные покажутся натянутыми и возмутительно-безнравственными. Таким образом, вместо того чтобы приобрести прозелитов идее, неловкий пропагандист рискует возбудить против нее не только негодование, но и насмешки. И в этом неблагоприятном результате будет своя доля справедливости, ибо втискивать человечество в какие-либо новые формы жизни, к которым не привела его сама жизнь, столь же непозволительно, как и насильно удерживать его в старых формах, из которых выводит его история. Поэтому мне кажется, что так называемые утописты (в особенности Фурье и его последователи), доказывавшие необходимость новых общественных оснований, поступали ошибочно, выводя этот вопрос из сферы отвлеченной и регламентируя все подробности его осуществления. Но еще большая ошибка заключается в попытках практического воплощения идеалов среди общества, к принятию их не подготовленного. (Такие попытки делались были Робертом Овэном и некоторыми последователями системы Фурье.) Все эти попытки были неудачны и рушились очень скоро: почему они были неудачны, почему они рушились,

об этом никто даже не полюбопытствовал узнать; никто не дал даже себе труда вникнуть, что причина неудачи заключалась не в порочности той идеи, которая лежала в основании попыток, а в порочности и предрассудках, тяготеющих над обществом; все видели только факт падения и от него пришли к заключению о неверности и бесплодности самой идеи, легшей в основание неверной и бесплодной попытки.

Но, извиняясь перед читателями за длинное отступление, перехожу к предмету моего письма.

Робкие, запуганные различными неприкосновенностями, мы не можем сделать ни одного движения без того, чтобы не приурочить его к какому-нибудь призрачному кодексу фантастического искусства жить. Самые законные стремления своего существа мы отравляем, проводя их сквозь горнило ненужных, неприятных и тошных преград; самых простых вещей не можем объяснить себе иначе, как посредством каких-то таинственных целей и неведомых предопределений. Все существующее представляется нам существующим не в силу своего права на существование, а под условием выполнения известной задачи. Отсюда идея о жизненном подвиге, размеры и содержание которого для каждого живого организма определяются различные. В чем заключается жизненный подвиг человека — об этом еще спорят, и хотя некоторые и предъявляют претензию, будто подвиг сей состоит в управлении земным шаром, но это — перспектива столь туманная и обширная, что даже не представляет ничего соблазнительного; но зато никто не спорит, что жизненный подвиг курицы заключается в том, чтобы быть съеденной в супе, как никто не спорил, во время существования крепостного права, что жизненный подвиг мужика состоял в исправном платеже оброка и прилежном отбывании барщины, как никто не спорит и теперь, что жизненный подвиг французского или английского пролетария (я указываю на Францию и Англию потому собственно, что оно спокойнее) заключается в том, чтобы работать с прилежанием и получать за сие вознаграждение достаточно умеренное, чтобы, при случае, умереть с голоду.

Вследствие этой склонности все облекать таинственностью, всякое явление возводить к конечным причинам, отношения к фактам, представляющимся нашему пониманию, делаются натянутыми и неестественными. Мы хлопочем не о том, чтобы объяснить себе факт из его собственной сущности, определить характеристические его признаки, место, которое он занимает в кругу других фактов, и те практические выводы относительно целой системы, какими представляется возможным воспользоваться из его свойств, но о том, чтобы как-нибудь, хотя насильственно, приурочить факт к готовой уже системе и посредством этой последней истолковать значение его. Одним словом, мы не подходим к факту, а, напротив того, увлекаем его за собой.

Для объяснения, возьмем здесь так часто приводимую в пример градацию человеческих способностей (известно, что наука психология, не довольствуясь наименованием способностей человека человеческими, еще разделяет их на высшие и низшие). Встречая на пути своем людей с различными способностями и наблюдая эти последние в их практических проявлениях, с каким намерением приступаем мы к этим наблюдениям? Спрашиваем ли мы себя, свободно ли сказываются эти проявления или они стеснены внешними условиями? Созаем ли мы, что разрешение этого вопроса необходимо, потому что процесс проявления известной способности может совершиться или вполне нормально, если он предоставлен естественному своему течению, или же получить извращенную форму, если на первых же порах будет опутан различными искусственными препятствиями?

Рассматриваем ли мы, наконец, разнообразие способностей просто как бесповоротный факт, из которого следует только вывести известный практический закон? Нет, мы ничего этого не делаем, а прежде всего стараемся втиснуть факт в готовую, веками нарожденную систему, приурочить его к той умственной неурядице, которую внесло в нашу жизнь постоянное обращение с призраками.

Вековой кодекс житейской мудрости гласит нам о существовании добра и зла и, однажды приняв это положение за истину неподвижную, делает его мерилом всех наших побуждений, исходным пунктом всей нашей деятельности. Откуда взялось представление о добре и зле, почему оно укоренилось в такой степени, что мы и действительно не можем шагу ступить, чтобы не видеть несомненных признаков его существования, не привинное ли оно, не внесено ли в жизнь ошибочною практикой, — мы ничего этого не доспрашиваемся, а просто принимаем на веру, что начало добра и зла составляет неизбежно закваску жизни. Отправляясь отсюда, мы уходим очень далеко: все, проходящее перед нашими глазами, все, доступное нашему пониманию, распадается на две противоположные области: темную, в которой царствует зло, и светлую, в которой господствует добро. И затем очень легко возникает у нас целая система, вооруженная разными арсеналами подробностей; является борьба духа с материей, из которых первый, конечно, преобладает, вторая, конечно, подчиняется; а так как практика беспрерывно опровергает это положение, к удовольствию материи, то, как пополнение к теории преобладания духа, изобретается другая теория — о несовершенстве сего мира и о некоторых таинственных наградах и наказаниях. Одним словом, тут возникает целый фантастический мир, до такой степени лишенный реальных оснований, до того непоследовательный и разрозненный, что отношение к нему утрачивает характер разумности и окончательно переходит на почву упований. Вынуждаемые реальною, неподкупленною жизнью объяснения и тезисы следуют одни за другими, но не объясняют, а, так сказать, мнут факты и насильственно выливают их в произвольные формы. Легкость, с которою производится эта операция, изумительна. Тут не нужно даже строго придерживаться основного принципа, потому что здесь самый принцип не только ничем не ограничивается, а представляется растяжимым до бесконечности. Следовательно, тут возможны разного рода пристройки и подделки, лишь бы они сохраняли фантастический колорит и как можно старательнее обходили тот действительный мир, который становится в разрез подобным мечтаньям и самым бессовестным образом напоминает нам, что хотя произвольное обращение с фактами и привлекательно по своей легкости, но зато оно непрочное и постыдно. Достигнувши этой степени беззастенчивости и сделавшись полными хозяевами нашей фантазии, мы разом завоевываем себе такое положение, которого удобнее ничего нельзя себе представить. Если главный принцип, из которого мы отправляемся, не исчерпывает всех жизненных явлений, то мы не затрудняясь строим около него вспомогательную теорию, а если и эта теория окажется неудовлетворительною, то мы и другую вспомогательную теорию выстроим. И таким образом, постепенно нарастая и нарастая, чудовищная эта система произвола и разнузданной фантазии принимает, под конец, такие неслыханные размеры, что мы сами чувствуем себя вконец опутанными и утопающими в бездне противоречий и недоумков.

Понятие о градации человеческих способностей принадлежит именно к той категории фантастических понятий, о которых говорено выше. Что люди обладают способностями разнообразными и весьма различными, в этом не может быть никакого сомнения, но чтобы каждая из этих способностей, взятая в отдельности, заключала в себе какие-либо особые достоинства

и на этом основании заявляла претензию на первенство перед другою, — это следует разве только из той фантастической теории, которая вообще всю сферу человеческой деятельности делит на две половины: высшую и низшую. Тут принцип проводится весьма последовательно, потому что, если признать за истину, что есть интересы перворазрядные и второразрядные, интересы духа и интересы плоти, то, разумеется, нельзя не признать, что и способности, служащие удовлетворению этих интересов, могут быть перворазрядными и второразрядными, благородными и неблагородными. На каком разумном основании допускается подобная градация, — этого до сих пор никто еще не объяснил, между тем практические ее последствия столь важны, что невозможно не остановиться на них.

Задавшись понятием о высших и низших способностях, мы весьма естественно приходим к тому, что людей, обладающих высшими способностями, разумею людьми высшими, а людей, одаренных так называемыми низшими способностями, разумею за людей низших. Первые приобретают право господствовать и управлять, вторые осуждаются на служение и подчиненность. Здесь лежит, так сказать, первое зерно неправопорядности, которое впоследствии история, с свойственною ей неумолимостью, развивает до крайних результатов. Являются вожди, герои, воины, администраторы, ученые, художники, которым противопоставляется масса, т. е. торгаши, ремесленники, земледельцы. За первыми остается звание высших организмов, вторые жалуются в скромное звание организмов низших. Но это разделение людей на овец и козлищ, хотя и опирающееся на основание фантастическое, было бы еще терпимо, еслиб оно всегда продолжало быть случайным. Говорю «терпимо», потому что различие, принятое добровольно (в первые минуты возникновения оно всегда основывается на общем добровольном заблуждении), все-таки сказывается не так жестко и не полагает между людьми слишком резких перегородок. Но в том-то и дело, что оно не может оставаться случайным, не может самым естественным путем не приобрести того искусственного характера, которого содержание всецело выражается словами: принуждение и справедливость. Для людей низшего сорта утрачивается возможность доступа в число людей высшей категории не только лично, но и потомственно. Изъятые от участия в высших интересах жизни, осужденные возвращаться в сферах деятельности менее блестящей, эти люди привыкают смотреть на себя, как на отверженных, и не только на себя, но и на детей своих. Эти дети, с самого рождения своего, окружены тою же атмосферою, в которой живут и отцы их; способности их, в свою очередь, приобретают ту фаталистическую складку, которая налагается всею обстановкою их жизни и сгладить которую с каждым новым поколением делается все менее и менее возможным. И таким образом утверждается на незыблемых основаниях наследственность ремесла, званий и состояний, прямое последствие которой заключается не только в нравственном страдании масс, но и в страшной неурядице экономической и политической.

Итак, вот к какому очень положительному практическому результату может привести признание за исходный жизненный пункт такого начала, которое само по себе имеет содержание совершенно произвольное. Если спор о борьбе добра и зла, о высших и низших побуждениях и т. п. не выходил из тесной семьи моралистов, то на него можно было бы смотреть, как на курьез, не причиняющий никому вреда, но в том-то и дело, что все такого рода убеждения ищут себе арены более широкой, стремятся вторгнуться в живую жизнь человечества и усиливаются организовать ее на свой манер.

Но здесь я, покамест, останавлиюсь.

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДАХ ЩЕДРИНА

Впервые публикуемые в настоящем номере «Литературного Наследства» статьи М. Е. Салтыкова-Щедрина, относящиеся к 1864 г. («Современные призраки» к 1865 г.), очень существенны для изучения мировоззрения великого сатирика. До опубликования этих статей в распоряжении исследователя не было публицистического материала, столь четко разносторонне и детально отражающего философские взгляды Щедрина. Публикуемые статьи расшифровывают многое в художественном творчестве писателя. Они позволяют реконструировать щедринскую философию истории и политики. Они дополняют и дают много нового по сравнению с таким важным документом, как раздел «Доказывается, что приходить в отчаяние ни в каком случае не следует» щедринского фельетона-хроники «Наша общественная жизнь» («Современник» за май 1863 г.). Особенно ценны эти публикуемые статьи еще и потому, что они относятся к крайне важному и вместе с тем далеко недостаточно изученному периоду в идейном развитии Салтыкова. В то время он, порвавший с либерализмом, оказался в лагере демократии, лишившейся своего великого вождя Чернышевского. Щедрин стал одним из ведущих публицистов «Современника», жизнь и работа заставляли его самостоятельно, без чьего-либо непосредственного идейного влияния, вырабатывать и формулировать взгляды и оценки по важнейшим вопросам политического дня.

Если о «Современнике» Чернышевского Щедрин писал в 1876 г. Анненкову «там были озорники неприятные, но которые заставляли мыслить, негодовать, возвращаться и перерабатывать себя», то в «Современнике» Некрасова-Антоновича-Салтыкова Щедрин оказывался не в роли перерабатывающегося попутчика демократии, а руководящего демократического писателя.

Публикуемые статьи, относясь к сравнительно короткому периоду (год-два), позволяют, в сопоставлении с другими данными, судить об отдельных шагах и общем ходе идейной эволюции Салтыкова, об ее оттенках и уклонах. В целом же данный новый материал показывает еще раз, насколько ошибочно представление о Щедрине как о великом сатирике, лишенном якобы сильного «положительного» мировоззрения. (Такова например точка зрения Н. Осинского в его большой рецензии на спектакль II МХАТ «Тень освободителя», — «Известия» от 21 мая 1931 г.)

Салтыков был сознательно и целеустремленно работающим художником — «я благодаря моему создателю, могу каждое мое сочинение объяснить, против чего оно направлено» (письмо к Пыпину от 2 апреля 1871 г.). Настолько остро и обнаженно происходило идейно-политическое дифференцирование в 60—80-х годах, настолько метко били произведения Щедрина и политически ответственна была его роль в «Современнике» и затем в «Отечественных Записках», что Салтыков не мог позволить себе роскошь слабости в своих «положительных» воззрениях. Мы, естественно, говорим при этом о силе и слабости соотносительно к движению общественной мысли в данной стране и в данную эпоху.

В публикуемом материале легко выделить две тесно связанные стержневые проблемы: 1) проблему исторического оптимизма и пессимизма и 2) проблему соотношения теории и практики в переделке действительности. Самый характер, а тем более разработка этих двух проблем показывает, насколько политически насыщенным было мышление Щедрина и тогда, когда он рассматривал вопросы, которые можно назвать общеполитическими. Щедрин во все периоды своей более чем сорокалетней литературной деятельности, от «Запутанного дела» до «Пошехонской старины», обладал колоссальной политической чуткостью. Он всегда умел уловить и зафиксировать «положение минуты и общие тона современной русской жизни» («Дневник провинциала»). Он владел исключительным даром художественного претворения проблем, тем и типов текущего политического дня. Салтыков вместе с тем всегда стремился дать быстро друг друга сменяющие явления в глубоком обобщении, в больших разрезах социальной борьбы, с точки зрения, которая многие разрозненные частности приводила бы к одному знаменателю. Правда, в «Губернских очерках» легко заметны элементы бытовистского эмпиризма. Но как раз 1863—1864 гг. были для Салтыкова периодом особенно

напряженной теоретико-публицистической работы и самостоятельного осмысливания трудной и сложной политической перспективы. Вся обстановка требовала большой мировоззренческой стойкости и политики дальнего прицела, и в эти годы бытовистские элементы из творчества Щедрина выветрились окончательно. Многие теоретические выводы, утверждения и «ярлыки», впервые сформулированные в своеобразно построенных фельетонах-хрониках «Наша общественная жизнь» («Современник»), послужили базисом для все углублявшейся художественной работы Щедрина на долгие годы. Набросанная несколькими словами-штрихами карикатура, едкий «ярлык», не приобретший однако еще подлинной осязаемости, наконец мысль, не получившая еще адекватного художественного отражения, — все это постепенно отставалось, оттачивалось, закреплялось в веские и прочные художественные образы. Поэтому так много нитей ведет от комментируемых статей к хорошо известным произведениям Щедрина.

Проблема исторического оптимизма и пессимизма, проблема теории и практики в переделке действительности имели в социально-политической обстановке 60-х годов актуальнейшее, злободневнейшее значение для демократической интеллигенции. Крах надежд на крестьянскую революцию, заточение Чернышевского, компромисс либерализма с крепостниками и самодержавием неотвратимо заставляли думать о будущем, оценивать его перспективы. Если начало 60-х годов окрашивается радостным, порой восторженным оживлением широких слоев демократической интеллигенции, то к 1864 г. господствуют уже совсем иные настроения. Плохо обоснованная вера в быстро приближающееся светлое будущее сменяется у многих мрачным, тяжелым пессимизмом. В середине и конце 60-х годов лежат корни идейной или физической (а нередко той и другой) гибели многих выдающихся демократов. Решетников, Слепцов, Прыжов, Помяловский и многие другие гибли или начинали гибнуть в то «трудное время», не выдержав его ударов. С другой стороны, именно в те годы впервые осознанно, во весь рост, встает в русском революционном движении вопрос о соотношении революционной теории и практики. В начале 60-х годов иллюзии просветительства были еще очень сильны. Чернышевский конечно хорошо понимал всю необходимость революционного дела, революционной организации, но, как он говорит в «Что делать?», Рахметовы еще насчитывались единицами. Шестидесятые годы характеризуются упорными поисками революционной практики, настойчивыми и постепенно все более удачными попытками перейти от революционной мысли к революционному делу. Горькая дума о заточенном вожде не только внушала пессимизм, но и звала к такой революционной работе, которая сделала бы невозможным удушение революционной мысли.

Эти обе проблемы, столь острые и волнующие в то время, крепко, органически срослись со всем мышлением Щедрина. Они не пришли извне, они не были такой «данью времени», на которую способен и ловкий, в той или иной мере приспособляющийся журналист или беллетрист, они, порожденные эпохой, получили у Щедрина индивидуальное, глубокое, даже трагическое преломление. Эти проблемы выросли из социального бытия авангарда русской крестьянской демократии, они представляли для Щедрина в силу обстоятельств, влиявших на развитие писателя и его судьбу, на склад его личного дарования и личных свойств, особо значительный интерес. Жестокая жизнь Пошехонья, а затем циничная практика провинциального чиновничества воспитали в Щедрине беспощадную, суровую, порой презрительную трезвость познания. Щедрин все больше заострял свое сатирическое дарование, все решительнее отрицал окружающую его действительность, все более примешивал к своему смеху едкую горечь и саркастическую издевку и приобретал все большую и все более внимательную аудиторию. Щедрин как писатель глубокого и последовательного ума не мог не задумываться о корнях своего сатирического смеха, о том, во имя и ради чего он издевается над Глуповым и глуповцами. Руководит ли им безнадежность, отчаяние, ощущение неизбежной гибели, или же его пессимизм «минуты» сочетается с оптимизмом дальней исторической перспективы? Если бы даже этот вопрос не нашел у Салтыкова теоретического, публицистического выражения, сами сатиры Щедрина в силу своего размаха и глубокого проникновения должны были бы давать на него ответ. Ведь этим ответом, по сути дела, определялся колорит щедринского смеха. Не менее остро стояла

для Салтыкова проблема соотношения теории и практики в переделке действительности. Прошедший школу провинциальной бюрократии Салтыков обладал громадным практическим чутьем и несомненной способностью администрировать. Щедрин знал едва ли не лучше и не точнее всех других русских писателей XIX века и деревенское хозяйство крепостного и послереформенного периода, и деятельность помпадуров, ташкентцев и куроцапов, и рост российского буржуазного «хищничества». Щедрин, буквально впитавший в себя российскую действительность 30—80-х годов, был характернейшим писателем-социологом, художником больших обобщений, построенных на множестве беспорядочных фактов, он всегда несколько презрительно и недоверчиво относился к «психологии» как к «вещи произвольной». Щедрин-мыслитель перенял и от французского утопического социализма, и от российского просветительства 40—50-х годов глубокую веру в силу человеческого разума. И вот такой человек вынужден был, в силу исторических условий, в годы своей наибольшей идейной силы знать только работу мысли и пера и притом не видеть каких-либо практических результатов этой работы, даже не иметь «прямого общения» («Мелочи жизни») с читателем, а зато чувствовать свое одиночество — «оброшенность». Трагический образ одинокого — в самом глубоком смысле этого слова — писателя, почти физически ощущающего непосредственное бессилие своей мысли («Приключение с Крамольниковым»), является страшным и непререкаемым свидетельством того, с какой беспощадной остротой проблема теории и практики и их роли в переделке действительности вставала перед Салтыковым-Щедринным.

Проблема исторического оптимизма дается Щедринным, особенно в «Современных призраках», в глубоком философском плане, и разработка ее позволяет с полным основанием говорить о материализме Щедрина и о фейербаховском характере его материализма.

«Отношения к внешней природе собственно и составляют содержание человеческой жизни», утверждает Салтыков и многократно варьирует этот тезис, говоря о природе как о постоянной творческой силе и о человеке как познающем природу существе. Природа существует для Щедрина независимо от человека и человеческого общества, и Салтыков саркастически издевается над всякого рода идеалистическими теориями, в той или иной форме доказывающими «преобладание духа». Щедрин именно в «Современных призраках» обнаруживает чрезвычайно высокий для своего времени уровень философского мышления, ставя вопрос о «призраках» и «абсолютной истине», т. е. об относительной и абсолютной истине. Для верного понимания и оценки этой основной в «Современных призраках» мысли следует иметь в виду, что она Щедринным проводится здесь одновременно и в отношении теории познания природы, и в отношении истории общества. Поэтому обнаруживаются и сильные и слабые стороны фейербаховского материализма в его отражении у Салтыкова. Щедрин начинал с того, что «миром управляют призраки», подразумевая под «призраками» весь строй общественных отношений его эпохи, говорил о «призраке, вооруженном с ног до головы» и об обществе как о «силе неорганизованной, рассеянной». Салтыков, казалось, ограничивался своеобразно зашифрованной характеристикой жизни окружающего его общества, его взглядов, идеологических традиций и т. п. Но затем «призраки» становятся для автора в сущности синонимами относительных истин («всякий призрак есть истина, но истина, ограниченная в пространстве и во времени») и он ставит вопрос о том, как эти истины относятся к истине абсолютной. Решает Щедрин этот вопрос в основном материалистически. Движение человека от «призрака» к «призраку» является для Щедрина движением от одной относительной к другой относительной истине, при этом движением прогрессивным, приближающим к абсолютной истине, к подлинному познанию объективно существующей природы. Скептицизму и агностицизму в этих воззрениях места нет. Неверно было бы при этом придирааться к таким утверждениям Щедрина, как например — «до поры, до времени не признаю возможности истины абсолютной». Из всего контекста ясно, что в этих словах содержится не отрицание абсолютной истины вообще, а лишь правильное отрицание исчерпанности «призраков», т. е. относительных истин, приближающих к истине абсолютной. Когда же эта

мысль прилагается к явлениям общественной жизни, легко обнаруживается идеализм исторической теории фейербахианства. История общества становится историей просвещения, избавления отвлеченного человека от «призраков», человеческая деятельность ограничивается познанием, отсутствует понятие о революционной практике, переделяющей действительность, и более того — «призраки», т. е. представления, оказываются владыками общества. Однако упрощенством было бы сделать на этом основании вывод, что в понимании развития общества Щедрин был безусловно идеалистом. Мы уже не говорим об его художественной практике, на анализе которой здесь останавливаться не можем. Но и в отношении Щедрина-теоретика вопрос решается не так просто. Благодаря вышеуказанной двойственности «Современных призраков», благодаря тому, что Щедрин здесь одними и теми же понятиями оперирует в отношении разных областей, не давая необходимых уточнений и разграничений, понятия эти оказываются на протяжении статьи разнозначными. Говоря о «призраках», господствующих над Россией 60-х годов, Щедрин явно имеет в виду не только ходячие реакционные идеологические представления, но и общественный строй в целом, не только призраки, созданные мыслью идеалистов и попов, но и весьма вещественные «призраки», созданные политической и хозяйственной практикой самодержавия, крепостников и буржуазного либерализма. А тогда и во взглядах Салтыкова-философа на развитие общества явственно выступают перед нами материалистические элементы.

С другой стороны, в этом столь характерном для мировоззрения и творчества Щедрина восприятии неприемлемой для него действительности, как действительности призрачной, эфемерной, сказывалось его неумение диалектически осмыслить движущие силы истории. Как показывают философские утверждения писателя в майском номере «Современника» 1863 г., Щедрин исходил из сосуществования жизни внешней, поверхностной, хотя и общепризнанной и «жизни, погруженной в подземную работу внутренней, бытовой историей». Не умея найти и увидеть в самой «призрачной» действительности силы и тенденции, являющиеся залогом ее изменения, Щедрин перемещал эти обеспечивающие лучшее будущее элементы в некую другую действительность, при чем опять-таки слышались нотки исторического идеализма: «жизнь не останавливается и не иссякает. Если горьким насильством не суждено ей проявиться непосредственно, она просочится сквозь те честные сердца, которые воспримут семя ее и сторицею возвратят ей посеянное».

В «Современных призраках» мы находим глубокое обоснование своеобразного исторического оптимизма, проникающего и другие публикуемые «Литературным Наследством» материалы Щедрина. Настоящее для последнего — «черный день в истории человечества», такая «горькая минута», когда «лучшее гибнет, лучшее исчезает», но «история утешает», призраки все же ведут к абсолютной истине, к лучшему будущему. Та же мысль, но на почве несколько иной аргументации проводится в цитированном разделе «Доказывается, что приходить в отчаяние ни в каком случае не следует» майской за 1863 г. хроники «Наша общественная жизнь». Глубокий исторический оптимизм, оптимизм дальней перспективы, сочетается у Щедрина с трезвой пессимистической оценкой настоящего, политической обстановки, определявшейся наступлением реакции. Уместна сближающая параллель с Чернышевским. Последний например критиковал Гизо за «крайний оптимизм» (Соч., т. VI, стр. 349), за оптимизм буржуазного реакционера, в условиях победы контрреволюции утверждавшего, что все всегда к лучшему. В тюрьме, в своей автобиографии, Чернышевский так сформулировал свою оценку исторической перспективы: «...если нельзя сомневаться, что этот хаос придет в стройность, что из дикой бессмыслицы разовьется жизнь, приличная человеческому обществу, — то теперь в целом еще нет ее. Все еще только кусочки, клочочки, перепутанные со всякой дрянью» («Литературное наследие», т. I, стр. 106).

Для Чернышевского и Щедрина (здесь они безусловно сходятся) беспощадная оценка настоящего является выражением не отчаяния и безнадежности, а бесповоротной уверенности в том, что такое настоящее раньше или позже осуждено на гибель, выражением непримиримости и готовности к борьбе, трезвой суровости познания.

Если в «Современных призраках» Щедрин с наибольшей ясностью формулирует свои общеполитические и историко-философские воззрения, то в остальных двух публикуемых статьях мы находим конкретный ответ на вопрос о том, как же бороться с «призраками» за «абсолютную истину», за внедрение этой истины в человеческое общество, иначе говоря — как бороться за переделку действительности.

На этот вопрос две публикуемые здесь статьи — мы дальше обозначаем их условно «корректур» («Начну с того...») и «рукопись» («Итак история утешает...») — дают далеко не во всем совпадающий ответ. Больше того: оба эти документа содержат даже принципиально друг от друга отличные ударения, позволяющие судить о значительной эволюции автора. Все же в этих двух статьях есть нечто общее, составляющее своеобразие воззрений Щедрина и качественно отличающее его от Чернышевского, с одной стороны, от Писарева — с другой. Сопоставление этих деятелей 60-х годов конечно не случайно. Под влиянием Чернышевского перерабатывался Салтыков. Вопрос о верности традициям Чернышевского был одной из существеннейших проблем той полемики, которая в 1864 г. разгорелась между «Современником» и «Русским Словом», а в ходе этой полемики, в одном из своих обзоров, Щедрин дал критический отзыв о некоторых сторонах романа «Что делать?»

И «корректур», и «рукопись» окрашены глубокой и горькой неудовлетворенностью тем, что передовая теория все еще живет только кабинетной, «сектаторской» жизнью, что ей предстоят лишь «исторические утешения», что действительность ее не приемлет, ее не слушается. Исходя из этого, Щедрин высказывается за своеобразное разделение функций: люди, борющиеся за будущее, должны разделиться на немногих теоретиков и многочисленных практиков, на немногих идеологов и многочисленных людей дела и массовой пропаганды. Однако и в «корректуре», и в «рукописи» представление об этих двух категориях деятелей весьма различно. «Корректур», которая, судя по общему ходу эволюции Щедрина, написана раньше, во многом близка по своим настроениям и мыслям к «Каплунам», в свое время не пропущенным Чернышевским в «Современник». В «корректуре» ударение ставится на том, что люди мысли (имеется в виду мысль утопическая, революционная) — «люди кабинетные, которые... отыскивают истину общечеловеческую, абсолютную, но которые вести человечество к осуществлению этой истины не могут». Причину такой неспособности Салтыков видит в «восторженности, упраздняющей необходимую для практической деятельности ясность представления о пространстве и времени». А от практиков, по мнению Салтыкова в этой статье, требуется умение «постоянно держаться на реальной почве, не обнаруживать слишком громадных запросов». Сквозь всю статью проходят возражения Салтыкова против «протеста своими боками», т. е. такого протеста, который непосредственных результатов не приносит, а вызывает лишь страдания протестующего. В «корректуре» мы имеем таким образом рекомендацию легальных «практических» возможностей для передовых социально-политических групп эпохи. Здесь содержатся такие поиски путей переделки действительности, которые в данных политических условиях могли вести к отказу от революционной практики, к компромиссу и капитуляции.

Корни этих настроений Салтыкова лежат глубоко. Еще очень рано, как показывает внимательное рассмотрение «Запутанного дела», написанного 22-летним юношей, Салтыков недоверчиво относился к положительным построениям утопического социализма, к его регламентирующему предвидению строя будущего. Очень рано Салтыков искал революционную «толпу» и залог успешности революционного переворота видел в революционизировании «заурядного человека», «человека толпы», «среднего человека», в революционизировании масс. Но эта трезвость оценки революционной перспективы, трезвость крайне редкая в середине XIX века (вспомним Герцена до 1848 г., Бакунина, многих петрашевцев), осложнялась у Салтыкова недостатком революционного энтузиазма, страстности, революционного темперамента. Салтыков не знал той гордой веры в силу революционного авангарда, которая так сильна была у Чернышевского и Добролюбова. Немалое значение имело и то, что Салтыков и по личным связям, в личном быту был далек от молодых революционных кружков 60-х годов. Все это

вместе взятое иногда вело Салтыкова середины 60-х годов к политическим ошибкам, беспастностям, непоследовательностям, если эти поступки рассматривать с точки зрения последовательного приближения Щедрина к революционному демократизму. Вызавшее возмущение «Русского Слова» указание Щедрина на то, что среди нигилистов или считавших себя таковыми много случайных людей, много представителей пустой «революционной» фразы, много будущих ренегатов, было правильным и нашло широкое подтверждение после выстрела Каракозова. Но в данной своей форме, по некоторым своим формулировкам (например: «нигилисты суть ни что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты» — «Наша общественная жизнь», 1864, январь) указание это содержало и элементы политической беспастности. Это указание могло быть, несмотря на оговорки автора, истолковано как огульное обвинение революционной молодежи. Политической ошибкой было выступление Щедрина против «подробностей» в «Что делать?» или в «Современных призраках» — против социальных опытов Оуэна, ибо такие выступления были по революционному энтузиазму. Здесь сказывалось непонимание условности обрисованных автором «Что делать?» деталей. Наконец в те годы всякая, хотя бы самая мягкая критика заточенного Чернышевского была — со стороны демократа — политической ошибкой. Но в этом отношении Щедрин в «Современнике» не был одинок. В октябрьской книжке «Современника» за 1863 г. Елисеев во «Внутреннем обозрении» выступил против «идеализации» женских типов в романе Чернышевского, т. е. совершил ошибку совершенно аналогичного порядка, корни которой лежали в народнически-оппортунистических сторонах мировоззрения Елисеева. Наконец политически непоследовательными были основные тезисы «корректур»: ставя вопрос о решительной переделке действительности, Салтыков скатывался здесь к поискам легальных возможностей. Но при всем том в статье было заложено здоровое зерно — твердое, настойчивое, напряженное стремление к практическому, «массовому» применению революционной теории к «делу». Сильные стороны взглядов Щедрина и позволили ему свою непоследовательность преодолеть.

«Рукопись» разрабатывает ту же тему, что и «корректур»; внешне «рукопись» содержит утверждения, очень похожие на мысли «корректур», но на деле принципиальные, смысловые ударения здесь совсем иные. Люди мысли, несмотря на отдельные оговорки о «фанатизме» и т. п., вырастают тут в героев революционной страсти, в подлинных вождей. Еще более усилена такая окраска мысли Щедрина в позднейшей разработке темы «исторических утешений» и «исключительных натур» («где тот художник, которому были под силу такие глубины?») в заключении цикла «За рубежом» и особенно в VI главе «Пошехонской старины». В «рукописи» чернорабочие практики уже не деятели, приспособляющиеся к легальным возможностям, не адвокаты, усваивающие в своих выступлениях точку зрения судей (таков поясняющий образ, используемый Салтыковым в конце «корректур»). Теперь они — практические исполнители стремлений революционной мысли, солдаты, готовые бороться и воевать. Если в «корректуре» Щедрин выступал против «протеста своими боками», то в рукописи он уже требует «самоотвержения» и восхищается им. Щедрин поднимается здесь до понимания значимости революционного подвига, независимо от того, приносит ли последний непосредственные плоды или нет. Но — и эта мысль объединяет «корректуру» и «рукопись» — Щедрин считает необходимым отделение в революционной организации (а о революционной организации он говорит прямо в заключительной части «рукописи») теории от практики, мысли от дела. Щедрин полагает, что людям мысли должна претить та грубая война, которую будут вести «чернорабочие». Так у Щедрина сказывались влияния созерцательного, «фейербахианского» материализма, несмотря на всю мучительную остроту его стремлений к практике, переделывающей действительность, к реальному воплощению в жизнь «идеалов», к революционному делу.

Правда, что сама политическая и социальная практика 60-х годов, казалось, подтверждала «практическое бессилие людей мысли». Чем дальше шла жизнь Щедрина,

поневоле замкнутая в становившийся все более тесным круг литературной работы, тем более резко и больно ощущал великий писатель тот отрыв от революционной практики, который он в публикуемых статьях объявлял нормой и необходимостью. Тяжелым самоупреком звучат в «Приключении с Крамольниковым» размышления писателя: «отчего ты... не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становишься лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно?»

Мысль Щедрина о необходимости отделения в революционной организации людей мысли от чернорабочих дела резко противоречит точке зрения Чернышевского, получившей живое и наглядное отражение в Рахметове. Этот образ, который Чернышевский явно рисовал как идеал профессионального революционера, как революционно-воспитывающий пример, замечателен именно неразрывным единством революционной теории и революционной практики. Рахметов — это неосуществившийся из-за заточения Чернышевского и последующего сползания народнической теории синтез великого мыслителя 60-х годов и гениально им предвиденного героического народовольца 70-х и 80-х годов. Но объединяет Чернышевского и Щедрина в разрезе данного вопроса глубокое, непреодолимое стремление к революционному перевоспитанию масс силой пропаганды и примера.

А вот у Писарева в «Базарове», как-раз на базе отсутствия глубокого исторического оптимизма и зарождения социологического субъективизма, столь чуждого и Щедрина, и Чернышевскому, образ революционера принимает оттенок мрачной замкнутости, своеобразного индивидуализма, ощущается пренебрежение к работе среди масс, к их революционному перевоспитанию. «Пойдет ли за ними общество — до этого им нет дела. Они полны собой, своей внутренней жизнью... Здесь личность достигает полного самоосвобождения, полной особенности и самостоятельности». Писарев оказывается здесь слабее Щедрина, несмотря на то, что для вождя «Русского Слова» «мысль и дело» должны были образовать «одно твердое целое» (Соч., т. II, стр. 396). Показательно также, что в одной из своих статей 1864 г., напечатанной в «Русском Слове» и посвященной «Д. И. Писареву и всем сотрудникам «Русского Слова», Щапов с глубоким пессимизмом говорит о том, что жизнь тащится сама по себе, а надежды и стремления мыслящих людей — сами по себе», считает, что для «водворения в... темном миру естественно-научного реализма» нужно «несколько веков», и отказывается от революционных, в частности революционно-пропагандистских, методов действия. Щапов видит лишь «утилитарно-образовательный» путь к изменению действительности, т. е. рекомендует насаждение фабрик, заводов и экономических ассоциаций и противопоставляет этот путь пропаганде «идеалов» (Соч., т. II, стр. 154—155).

Укажем, в заключение на то, что цитата из Консидерана, служащая эпиграфом к «Современным призракам», взята со стр. 140, т. II «Destinée sociale» (Paris, 1837). Как показывает письмо Салтыкова к В. Г. Зотову, относящееся к 1845 или 1846 г., Салтыков очень рано познакомился с этим произведением, о котором Герцен в своем дневнике 1844 г. писал, что оно «несравненно энергичнее, полнее, шире по концепции и исполнению всего вышедшего из школы Фурье» (Соч., т. III, стр. 332). Несомненно, что такие выражения и понятия, как например «всеобщая гармония», заимствованы Салтыковым у Консидерана, но также очевидно, что вся философская концепция «Современных призраков», в частности постановка вопроса об относительной и абсолютной истине, гораздо выше взглядов Консидерана, который считает, что открыты «Законы Судеб, Всеобщих Гармоний и Счастья» («D stinée sociale», т. I, стр. XVII), и на этой основе создает типично-утопические идеалистические построения. Сходясь с великими утопистами в критике существующего общества и в вере в лучшее будущее, Салтыков никогда не тешился надеждами на быстрое и легкое изменение действительности, никогда не пытался сочинить универсальные и не считающиеся с исторической обстановкой социальные рецепты.

КОММЕНТАРИИ

Все три публикуемые здесь статьи Щедрина — две хроники из цикла «Наша общественная жизнь» и «Современные призраки», предназначались несомненно для помещения в «Современнике» в 1864/65 г., но по неизвестным причинам напечатаны там не были и появляются здесь впервые.

Рукопись статьи из цикла «Наша общественная жизнь», начинающаяся словами «Итак, история утешает...», сохранилась в архиве М. М. Стасюлевича (ИРЛИ Академии Наук) на шести полулистах. Это пока единственный дошедший до нас черновик из этого цикла.

Корректурные гранки (три формы) другой статьи из этого цикла, начинающиеся словами «Начну с того самого пункта...» сохранились в архиве А. Н. Пыпина (ИРЛИ Академии Наук).

Дата обеих статей — тематически близких и, возможно, представляющих собою варианты одного замысла — 1864 г. Как известно, печатание цикла в «Современнике» оборвалось на мартовской книжке журнала за этот год. Повидимому между мартовской книжкой и статьей, сохранившейся в корректурных гранках, была еще, по крайней мере одна недошедшая до нас статья, оканчивавшаяся темой «история утешает». Возможно, что недошедшая статья — между двумя вновь открытыми и публикуемыми здесь статьями, но вероятно обе они продолжают одну несохранившуюся, где была развита тема о «протесте своими боками». Часть материала обеих статей была использована Щедриным и в начатом цикле «Современные призраки». «Письма из далека». Печатаемые здесь два «письма» (они датируются мартом — апрелем 1865 г.), воспроизводятся с чернового автографа на восьми полулистах, сохранившегося в том же архиве М. М. Стасюлевича (ИРЛИ Академии Наук).

Рукописи подготовлены для печати М. Гонтаевой.

Р е д а к ц и я